Франческо Д'Адамо

# История Икбала

серия ГРАЖДАНИН мира

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

«История Икбала» — роман о жизни Икбала Масиха, пакистанского мальчика, отданного в рабство и ставшего активистом и правозащитником. Икбал — двенадцатилетний подросток, который знал, что его жизнь стоит больше, чем самый красивый ковер, что бесконечные цепочки детей, трудящихся без отдыха у станков, — это неправильно и что есть способ остановить насилие. Он был убит в 1995 году в возрасте двенадцати лет.

История Икбала Масиха рассказана от лица Фатимы, пакистанской девушки, чья жизнь изменилась благодаря мужеству Икбала. Для Фатимы и других детей с ковровой фабрики Хуссейн-хана появление несгибаемого подростка стало началом чего-то нового. Именно Икбал дал им понять, что долг их семьи никогда не будет выплачен, независимо от того, сколько дюймов ковра они соткут за день, как аккуратна будет их работа или как совершенен рисунок. И именно Икбал помог им увидеть будущее. «Фатима, когда я вернусь, — сказал он тогда, — мы будем каждый день запускать воздушного змея!»

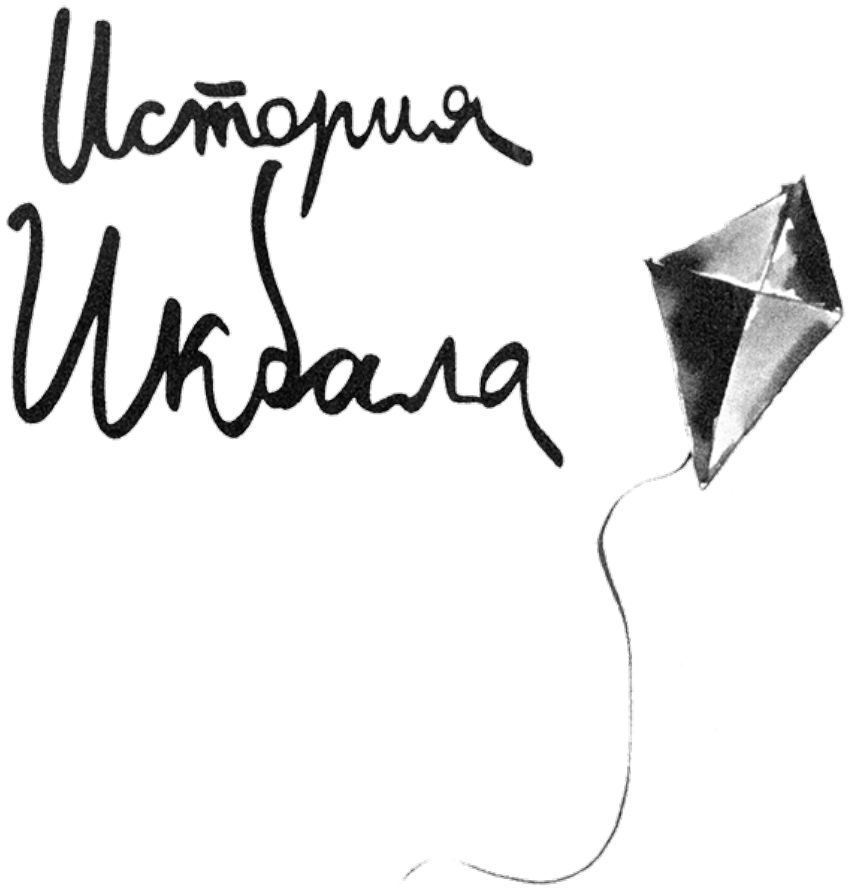
«История Икбала» была переведена на многие языки и стала бестселлером в разных странах от США до Японии, от Франции до Кореи. Она была отмечена многочисленными премиями: Cassa di Risparmio di Centro (2002), La ciliegia d’oro — Terre del Magnifico (2002), Piccoli lettori crescono, Piero Manni (2002), Un libro per la testa (2003), Christopher Awards (2004) и вошла в список «Выбор Американской ассоциации библиотек» (2004).

- Франческо Д'Адамо
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12

- 13
- 14
- 15
- 16
- Эпилог

# Франческо Д'Адамо
# История Икбала

*Аннарите*



[место действия: Пакистан]

# Предисловие

Я не знаю, какое лицо было у Икбала: те его фотографии, что я нашел в газетах, были темными и нечеткими. В одной статье говорилось: «Он был невысоким». И тогда я попытался его себе представить. Возможно, я его немного приукрасил, может, у меня он сильнее и смелее, чем был на самом деле, но это — удел всех настоящих героев.

А вот Фатиму я придумал. Но я уверен, что рядом с Икбалом была девочка, похожая на нее, и еще друзья, похожие на Салмана, Марию или Али. Если вы захотите познакомиться с ними, оглянитесь вокруг: они живут не только в далекой Азии, но и рядом с вами. Попробуйте как-нибудь поговорить с ними.

Да, мне пришлось вообразить и жизнь в Пакистане, я ведь никогда там не был.

Но, не считая этих частностей, история, которую вы собираетесь прочесть, абсолютно правдивая. Все события, что описаны в этой книге, произошли в действительности. И печальные тоже.

«Это грустная история», — заметил как-то один мой читатель.

Но я так не думаю — ведь она о том, как можно завоевать свободу.

Эта история продолжается и сегодня.

Даже сейчас, когда вы читаете эти строки.

*Франческо Д'Адамо*

# 1

Да, я знала Икбала.

Я часто вспоминаю о нем, особенно по ночам, когда просыпаюсь от холода или когда не могу заснуть от усталости.

В комнате на чердаке, которую отвели нам наши хозяева-итальянцы, есть одно странное окошко, которое смотрит наверх, прямо на небо. В моей стране таких окошек не бывает. Впрочем, здесь, в Италии, все не так, как в Пакистане. Никак не могу привыкнуть.

Мне это окошко нравится, потому что иногда, когда небо ясное, в нем можно увидеть звезды или даже полумесяц. Только звезды и напоминают мне мою деревню — она неподалеку от города Лахор. Наши звезды, конечно, светят поярче, но по большому счету звезды во всем мире одинаковые, и они всегда утешают тех, кто живет в чужой стране и кому одиноко и грустно.

Со мной здесь два моих брата: Хасан немного младше меня, а Ахмед старший. Хасан работает в той же семье, что и я, и в этом нам повезло. У нас хорошие хозяева. Они никогда нас не бьют — в Лахоре все было совсем по-другому. И работа здесь не такая тяжелая: я помогаю по дому, хожу на рынок и сижу с детьми.

С детьми мне нравится больше всего. У моей хозяйки их двое: девочка и мальчик. Такие чистенькие, красивые! Они меня любят и ходят за мной по пятам: «Фатима, поиграй с нами!» Тогда мы берем их диковинные игрушки и принимаемся играть. Эти игрушки двигаются сами, а еще кричат на разные лады и светятся разноцветными огоньками — я в такие совсем не умею играть, ведь я ничего подобного в жизни никогда не видела. Поначалу я вообще думала — вдруг они заколдованные, даже страшно было.

Бывает, что дети фыркают: «Ну ты и глупая, Фатима!» Но я вообще-то очень быстро учусь и с удовольствием целыми днями играла бы с ними, как маленькая девочка, и все время узнавала бы что-то новое. Но к сожалению, как правило, скоро приходит хозяйка: «Фатима, ты что здесь делаешь, разве на кухне дел не хватает?»

И я бегом бегу на кухню, лицо горит от стыда, потому что мне уже шестнадцать лет, а может быть, даже семнадцать, точно не знаю. В общем, я уже взрослая женщина и мне давно положено быть замужем и иметь собственных детей.

В Пакистане хозяева не разрешали нам играть, на это не было времени: мы должны были все время сидеть у ткацкого станка, каждый день, с рассвета до заката. Но я прекрасно помню, как мы с Икбалом запускали воздушного змея. Мы были так счастливы,

глядя, как он поднимается в небо, все выше и выше. Это было перед долгим путешествием Икбала в Америку.

— Когда я вернусь, — говорил он тогда, — мы будем каждый день запускать воздушного змея!

Но этого не случилось.

Мне бы хотелось научить хозяйских детей запускать воздушного змея, им бы понравилось. Не знаю, правда, смог бы змей взлететь: в этом городе так мало места, да и ветра нет. Боюсь, змей просто запутался бы в проводах и умер бы там, не добравшись до неба.

Чем занимается Ахмед, мой старший брат, я не знаю. Мы видимся изредка, когда хозяева отпускают нас погулять на полдня. Есть один сквер, где собираемся все мы, здешние пакистанцы. Не очень красивый, честно говоря: в нем всего три скамейки и пара засохших деревьев. К тому же часто идет дождь. Но больше нам встречаться негде. Мы болтаем и смеемся — мужчины слева, женщины справа. Мы, женщины, ходим туда в хиджабе — покрывале, которое закрывает волосы и часть лица. У нас на родине принято носить хиджаб из целомудрия.

Когда приходит Ахмед, он всегда оглядывается по сторонам, много машет руками и говорит, что нам надо быть осторожнее и что скоро мы вернемся домой, в нашу страну, — как только у нас будет достаточно денег. Но у него самого денег никогда нет, так что часто нам приходится ему их давать. Несколько раз я замечала, что от него пахнет пивом. Очень жаль, что он пьет алкоголь. Но я не хочу его судить — ведь он мой старший брат, и потом, я думаю, ему так же тяжело, как и всем нам. Я не знаю даже, хочу ли я возвращаться в свою страну: там мне было плохо, а здесь — грустно.

Конечно, здесь никто не обращается со мной плохо: никто не заставляет меня работать, пока я не рухну на пол от усталости, на моих руках нет ни мозолей, ни порезов, которые воспаляются и болят, а их никто их не лечит. Здесь я не рабыня. Хозяева дают мне еду и ночлег и даже деньги. Жаловаться не на что, и я им благодарна.

Здесь я свободна. Но, как говорит Ахмед, если нас обнаружат, нас сначала отправят в лагерь за высокой оградой, а потом вышлют.

Даже не знаю. Может, все дело в том, что я чувствую, когда хожу на рынок за покупками. Я надеваю хиджаб, беру большую сумку и иду опустив голову. Здесь на рынках гораздо больше всякой всячины, но все не такое яркое и веселое, как на наших. Сначала я не знала, как называются многие продукты, и просто показывала пальцем: этого три, а этого четыре. Иногда

ошибалась, и хозяйка на меня сердилась. Теперь уже легче.

На рынке никто меня не видит. Не знаю, как объяснить: я невидимкой прохожу сквозь толпу людей, которые здороваются друг с другом, перекрикиваются, разговаривают. Ко мне никто не обращается. Если меня случайно толкают, то никогда не извиняются. Иногда мне кажется, что я стала джинном. Это такие невидимые духи, которые живут в домах у людей и вытворяют всякое — вазы, например, бьют или таскают предметы прямо из-под носа.

Я иду, а меня словно и нет. Я останавливаюсь посмотреть на прилавки с овощами и фруктами, а меня нет. Я что-то покупаю, и продавец протягивает мне продукты, берет у меня деньги, дает сдачу — которую я сразу же пересчитываю, чтобы меня не обманули, — а он смотрит сквозь меня на покупателя, который стоит за моей спиной, и разговаривает с ним, смеется и шутит. А меня нет.

Вот почему мне так грустно по ночам на чердаке. А когда мне грустно, я думаю об Икбале. И представляю, что мы с ним жених и невеста.

Это глупо, знаю. Девчонки шепчутся о таких вещах смеха ради. Да и вообще, мне нельзя об этом думать. В моей стране не принято, чтобы девушка сама выбирала себе жениха. Об этом заботятся ее родные: семьи обо всем договариваются заранее, главным образом о приданом. Так было всегда, и с моей матерью, и с матерью моей матери, и так и должно быть, наверное.

Здесь, конечно же, всё по-другому. Но я все равно уже слишком старая, и никто не возьмет меня в жены.

И все-таки иногда, по ночам, когда небо становится темным-темным и холодным, а шум на улице постепенно затихает, я смотрю в эту темноту во все глаза и мне хочется плакать, но почему-то не получается. Тогда я представляю себе, как Икбал поднимается по тропинке, которая ведет к дому моих родителей. С ним его друзья и родственники и еще Эшан-хан, который был ему как второй отец, и все они празднично одеты.

Я представляю, как жду его на женской половине дома и как стараюсь не подать виду, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди. Я одета в красное платье невесты, а мои руки и ноги сёстры украсили цветочными узорами из хны. Я представляю, как Икбал входит в наш дом, который пахнет цветами и благовониями, и берет меня в жены — перед моими родителями, братьями и всей родней. А потом мы уходим с ним вдвоем, навсегда свободные.

Я знаю, что это просто мечты. Фантазии, как говорится. Я знаю, что Икбал не может забрать меня из этой чужой и

непонятной страны. И я даже не уверена, что он захотел бы на мне жениться. В конце концов, мы были совсем еще детьми тогда, пять лет назад.

Но именно этим стал для меня Икбал — свободой. Единственной свободой, которая была у меня в жизни. Так что пусть она останется, эта мечта. Никому ведь она не навредит.

Для него я не была невидимкой. Я существовала.

Так что это — история Икбала. Такого, каким я его знала и каким помню.

# 2

Дом Хуссейн-хана, нашего хозяина, стоял на окраине Лахора, среди пыльных полей с пожухлой травой, на которых паслись стада с севера. Это был большой дом; одна его половина была каменная, а другая — жестяная. В грязном внутреннем дворике, когда-то вымощенном булыжником, рядом с колодцем стоял хозяйский фургон — старая «тойота»; навес из тростника защищал от солнца тюки с шерстью и хлопком, а в глубине двора, еле заметная за кустами ежевики и дикой травой, виднелась ржавая железная дверь, а за ней была крутая лестница, ведущая вниз, в Склеп.

Ковровая фабрика находилась в жестяной части дома — летом там было очень жарко, а зимой очень холодно. Рабочий день начинался за час до рассвета, еще в сумерках, когда жена хозяина спускалась вниз в халате и тапочках и шла через двор, чтобы отнести нам круглых лепешек чапати и немного йогурта дахи или чечевичной пасты.

Мы ели жадно, макая лепешки в большую общую миску на глиняном полу, и говорили без умолку, чтобы успеть рассказать друг другу всё, что видели во сне.

Сны, как объясняли мне бабушка и мама, живут на небе, так далеко, что и представить себе невозможно. Они приходят, если их позвать, и могут принести боль или утешение, радость или отчаяние, а иногда могут быть совершенно глупыми и совсем ничего не принести. Может, злые люди притягивают плохие сны, а глупцы — бестолковые?.. Но разве поймешь, как там все устроено, на небе.

А вот что плохо, говорила бабушка, это когда сны к тебе совсем не приходят. Как если был кто-то, кто всегда помнил о тебе, даже когда находился от тебя далеко-далеко, — и вдруг он тебя позабыл.

Мне уже много месяцев не снились сны, и многим из нас не снились, но мы боялись друг другу в этом признаться, ведь по утрам нам было так тоскливо! Так что мы выдумывали — прекрасные, разноцветные сны, полные света и воспоминаний о доме (у тех, кто еще что-то о нем помнил).

Мы будто соревновались на самый интересный сон — и тараторили, перебивая друг друга, с набитыми ртами, пока хозяйка не рявкала: «Ну хватит уже! Хватит!» Тогда мы по одному брели в уборную с дырой в полу, спрятанную в углу комнаты за грязной занавеской.

Первыми шли те, кто провел ночь прикованным цепью за

лодыжку к ткацкому станку, — «болваны», как называл их хозяин. Они работали плохо и нерасторопно, могли перепутать цвета нитей или — что самое страшное — сделать ошибку в узоре ковра и вдобавок хныкали из-за мозолей на пальцах.

«Болваны» и правда совсем простых вещей не понимали. Все знают, что мозоль нужно надрезать ножом — тогда вытечет вода. Конечно, поболит немного, но потом вырастет новая кожа, погрубее, так что ничего уже не будешь чувствовать. Просто нужно уметь ждать.

Мы, те, кого не приковывали цепью, вроде и жалели «болванов», но все равно частенько над ними подтрунивали. В основном это были новенькие — они еще не понимали, что единственным способом стать свободными было работать много и очень быстро, чтобы раз за разом избавляться от меток, начерченных мелом на досках, до тех пор пока не останется ни одной. Тогда можно будет вернуться домой.

У меня тоже, как и у всех, была своя доска над ткацким станком.

В тот день, когда я появилась на фабрике, Хуссейн-хан взял чистую доску, начертил на ней какие-то значки и сказал мне:

— Это — твое имя.

— Да, господин.

— А это — твоя доска. Никто не должен к ней прикасаться, только я. Поняла?

— Да, господин.

Потом он начертил много других значков, прямых, как волоски на спине у перепуганной собаки, и каждые четыре значка перечеркнул поперек. Я ничего не поняла.

— Считать умеешь? — спросил меня хозяин.

— Почти до десяти, — ответила я.

— Тогда слушай. Вот это — твой долг. Каждая метка — рупия. За каждый день работы я буду давать тебе одну рупию. Это хорошие условия. Никто тебе больше не заплатит. Спроси у кого угодно, любой тебе скажет, что Хуссейн-хан — добрый и справедливый хозяин. Ты будешь получать то, что тебе причитается. И каждый день, на закате, я буду на твоих глазах стирать одну из этих меток, и ты сможешь гордиться собой, и твои родители смогут гордиться тобой, потому что это будут плоды твоей работы. Поняла?

— Да, господин, — снова ответила я, но это была неправда, потому что я не поняла. Я глядела на эти загадочные значки, которых было так много, как деревьев в лесу, и не могла отличить свое имя от долга — они выглядели одинаково.

— Когда я сотру все метки, — добавил Хуссейн-хан, — и

доска станет совсем чистой, ты будешь свободна и сможешь вернуться домой.

Я так никогда и не увидела свою доску чистой, как, впрочем, и мои друзья — свои.

После того как «болваны» возвращались из-за занавески и их снова приковывали к станку, мы, «свободные», могли в свою очередь справить нужду и освежить лицо водой. Там, в туалете, было маленькое окошко. Оно находилось довольно высоко, и в него можно было, хоть и с трудом, разглядеть цветущие ветви миндального дерева. Каждый день я проводила лишнюю минуту за занавеской: я старалась подпрыгнуть как можно выше, чтобы забраться на старый ткацкий станок, вскарабкаться по нему к окошку и выглянуть наружу. Но мне было тогда десять лет, я была маленькой и худенькой — правда, я и сейчас такая, — и мне не удавалось даже коснуться пальцами края окошка. Но все же мне казалось, что с каждым днем я забиралась повыше — пусть на самую малость, на какой-нибудь миллиметр, — и я была уверена, что скоро обязательно высунусь из окна и прикоснусь к коре миндального дерева. Такая глупость, к тому же совершенно бесполезная, — даже не знаю, почему мне это было настолько важно. Но мне казалось тогда, что это какой-никакой шаг к свободе. Конечно, я ошибалась. Если бы я вылезла, то всего-навсего попала бы в сад соседнего дома и жена Хуссейн-хана пришла бы забрать меня, размахивая плеткой и крича: «Ах ты, оборванка! змея неблагодарная!», ну и так далее. И меня на три дня, а может и больше, посадили бы в Склеп. Вот чем бы все закончилось. Но все-таки я не оставляла попыток. Я работала на Хуссейн-хана уже три года, и ни разу за это время меня не сажали в Склеп. Ребята из зависти говорили, что меня не наказывают, потому что я хозяйская любимица. Что за ерунда: меня не наказывали, потому что я работала ловко и быстро, ела то, что давали, никогда не капризничала, а при хозяине всегда молчала — не то что некоторые. Иногда, правда, хозяин и впрямь гладил меня по голове на глазах у остальных. А иногда называл меня «моя маленькая Фатима» — и тогда я дрожала от страха и хотела исчезнуть или куда-нибудь спрятаться. Хуссейн-хан был толстяком с черной бородой и маленькими поросячьими глазками, а руки у него, казалось, были смазаны пальмовым маслом: они оставляли жирный след на всем, чего касались.

Иногда по ночам, когда мне еще снились сны, я видела, будто Хуссейн-хан подходит к моей подстилке рядом с ткацким станком. Я слышала его тяжелое дыхание и чувствовала запах дыма от его куртки. Песок на глиняном полу хрустел под его ногами. Он подходил, и гладил меня, и шептал: «Моя маленькая

Фатима». Утром, спрятавшись за грязной занавеской в углу комнаты, я проверяла, нет ли на мне жирных следов. Их не было — просто меня мучили кошмары, из тех, что снятся перепуганным детям.

Время работы наступало с восходом солнца. Хозяйка три раза хлопала в ладоши, каждый из нас садился перед своим станком, и через мгновение мы запускали их одновременно, словно станками двигала одна пара рук. Во время работы нам запрещалось останавливаться, разговаривать, отвлекаться. Разрешалось только смотреть на тысячи шпуль разноцветных нитей, из которых нужно было выбирать правильную для рисунка ковра, постоянно сверяясь с образцом на прилепленном над станком кусочке бумаги.

Вскоре воздух нагревался и наполнялся пылью и шерстяным пухом, а шум ткацких станков был таким сильным, что почти полностью заглушал шум города, который к тому времени уже просыпался: моторы старых автомобилей и фургонов, рев ослов, не желающих двигаться с места, голоса людей, зазывные крики продавцов чая, гул соседнего рынка. День прибывал; нарастал и шум: жизнь выливалась на улицы Лахора. А у меня болели руки и плечи. Тогда я поворачивала голову — на секунду — к двери, что выходила на солнечный двор. Я никогда не знала, сколько времени оставалось до нашего единственного перерыва. Мои руки и ноги двигались сами, по привычке: брали нити, стягивали узлы, давили на педали — снова и снова, тысячу раз. У меня появлялась новая мозоль, она болела, но это было не важно, ведь вечером Хуссейн-хан проверит мою работу и, если все будет сделано хорошо и аккуратно, сотрет метку с доски — одна рупия за день работы.

Уже три года он стирал эти метки, а они всё еще были на месте, или мне просто так казалось. Иногда мне даже чудилось, что их становится больше, но разве это невозможно? Ведь меловые черточки на доске не то что сорняки на огороде моего отца, которые росли как им вздумается и за одну ночь могли погубить урожай.

В перерыве на обед мы плелись во двор, еле переставляя ноги от усталости, садились вокруг колодца на солнцепеке и ели чапати с овощами, жадно запивая их водой, потому что в горле першило от шерстяного пуха. Мало у кого хватало сил разговаривать, смеяться или играть с палочками или чем-то еще, что валялось во дворе. Перерыв длился час, и за этот час голод только усиливался. Потом мы возвращались в мастерскую. Хуссейн-хан с женой тем временем уходили в дом, чтобы укрыться от зноя.

Они могли не следить за нами и по нескольку часов — ни у кого все равно не хватило бы смелости убежать, да и не работать было нельзя: вечером портновский метр хозяина вымерял до последнего сантиметра, сколько было соткано за день.

Плохая работа — никакой тебе рупии, это нам было хорошо известно.

Такой была моя жизнь в течение этих трех лет. Ни на что другое я не надеялась. И остальные, думаю, тоже ни на что не надеялись.

В первые месяцы я часто думала о моей семье: о маме, о братьях и сестрах, о моем доме, о нашей деревне, о буйволе, тянущем плуг, о сладких шариках ладду из гороховой муки, сахара и миндаля — мы ели их по праздникам. Но со временем и эти воспоминания поблекли, как блекнет узор на коврах, по которым очень долго ходят.

Так было до того дня, когда появился Икбал.

А с ним — свобода.

# 3

Я хорошо помню этот день: Икбал пришел утром, в самом начале лета. Солнце стояло высоко, светило жарко, и длинные его лучи проникали в жестяной короб нашей мастерской. В лучах кружились столбики пыли, и два таких столбика пересеклись прямо на уточной нити ковра, который я плела. Я работала и представляла себе, что это лезвия двух сабель, скрестившихся в смертельной битве.

Один был саблей храброго героя, а другой — коварного злодея. Я нажимала на педали станка так, чтобы сабля героя на мгновение побеждала, обращая в бегство злодея, который, впрочем, потом неумолимо возвращался к бою.

Карим — которому было почти семнадцать, и пальцы у него были уже слишком толстые и неуклюжие, чтобы плести узлы ковра, так что он был кем-то вроде надсмотрщика за нами, детьми, — рассказывал, что он ходил в кино, даже два раза, и там показывали такие истории, где в конце, после долгих мучений, побеждал всегда храбрый герой. После чего он надевал красивую одежду из разноцветного шелка и отправлялся просить руки своей любимой девушки. Отец девушки не мог отказать, потому что герой победил злодея, рискуя жизнью.

Может, это было и правдой, что он ходил в кино — хотя нам казалось невероятным такое счастье, — потому что иногда по вечерам, когда он бывал в хорошем настроении, Карим подробно рассказывал эти истории, а выдумать такого он никогда не смог бы, ему просто не хватило бы фантазии. Первый фильм Карим рассказывал нам два месяца, тем более что иногда по вечерам ему было лень и мы не могли от него ничего добиться. А дослушав до конца, мы уже забывали начало и просили его начать заново.

Я думала о том, как было бы здорово однажды пойти в кино. Мои родители никогда там не были, и сестры с братьями тоже. Мы слишком бедные. Кино — это роскошь для городских богачей. Как и телевизор.

У хозяев был телевизор. По ночам, засыпая, мы слушали странные голоса из гостиной дома Хуссейн-хана и смотрели, как за окном мелькают разноцветные огоньки. Хвастун Карим утверждал, что однажды ему удалось незаметно проскользнуть к окну и заглянуть в комнату и что он целых пять минут смотрел крикет.

— А что это такое, крикет? — спросила я.

— Помолчи, дурочка! — ответил он.

По мне, так Карим все выдумал. Он, конечно, подлизывался к хозяину и был у него надсмотрщиком, но ему никогда не хватило бы смелости подойти близко к хозяйскому дому.

Я так задумалась, что отвлеклась от работы. Едва успела схватить нитку, которая чуть не выскользнула у меня из рук. Солнце ушло за тучу, и две сабли перестали биться. Мы все обернулись: хозяин стоял в проеме двери, загородив собой весь проход. Он был одет по-дорожному — в длинный халат до пола и легкие сапоги, перепачканные землей. В левой руке он держал мешок, а в правой крепко сжимал руку мальчишки, на пару лет младше меня.

Мальчик был невысокий, худой, с темными волосами.

Сначала он показался мне красивым, а потом — не очень, но у него были такие глаза… Глаза моего Икбала — я никогда их не забуду. Добрые и глубокие. И бесстрашные. Он стоял на пороге мастерской, пока рука хозяина словно тисками сжимала ему предплечье, и все мы смотрели на него. Нас было тогда четырнадцать, не считая Карима, надсмотрщика. И все — я уверена — подумали об одном и том же: в этом парнишке, которого судьба забросила сюда, как и многих до него, было нечто особенное, что отличало его от других. Тогда мы еще не понимали, что именно.

Он взглянул на каждого из нас. Выглядел он, конечно, очень грустным — как любой, кто давно разлучен с домом, с родными и со всем, что ему дорого. Чье будущее неизвестно, а жизнь состоит лишь из рабского труда. Он был грустным, как любой ребенок, который никогда не играл в мяч и не бродил по рынку после полудня, пытаясь стащить какой-нибудь фрукт с прилавка или бросая камешки в стену.

Но в глазах его не было страха, вот что удивительно.

— Чего уставились? — прорычал Хуссейн. — Живо за работу!

Мы тут же повернулись обратно, но время от времени краем глаза посматривали на новичка. Хуссейн подвел его к станку рядом с моим, вытащил из-за подножки ржавую цепь и пристегнул к его правой ноге.

— Это твое место, — сказал он, — здесь будешь работать. И если ты будешь работать хорошо…

— Я знаю, — ответил парень.

Хуссейн посмотрел на него озадаченно. Потом взял доску, испещренную метками:

— Это — твой долг, — начал он, — и каждый вечер я…

— Знаю.

— Ну, хорошо, — сказал Хуссейн, — так и быть, господин Всезнайка. Твой предыдущий хозяин предупреждал меня, что ты

упрямый выскочка.

У меня ты возьмешься за ум. Да, еще он говорил мне, что никто не умеет работать лучше тебя. Ну что ж, посмотрим, посмотрим.

И Хуссейн направился к выходу. На пороге он остановился и погрозил толстым пальцем Кариму:

— А ты смотри за ним как следует!

Карим кивнул, но как-то неуверенно.

Новичок сел за станок и тут же начал работу.

Мы смотрели на него с открытыми от изумления ртами. Никто из нас не работал так ловко и проворно, никто не умел так аккуратно и точно затягивать узлы. Его пальцы словно порхали между шпулями станка, никогда еще мы не видели ничего подобного. А рисунок, который оставил ему Хуссейн, был из самых сложных.

Один за другим мы тоже вернулись к работе. Нам было ясно одно: это не «болван», совсем нет. Его не потому приковали. Причина была в чем-то другом.

— Как тебя зовут? — спросил Карим, стараясь, чтобы голос звучал погрубее.

— Икбал, — ответил новичок, — Икбал Масих.

# 4

Той же ночью, едва дождавшись, пока хозяин выключит свет и заснет, мы отправили Али — самого младшего из нас — сторожить дверь, а сами тихонько прокрались к станку новичка. Нас было четверо: я, Карим — он, хоть и был надсмотрщиком, не мог удержаться; Салман — ему было тогда лет десять, но его лицо так загрубело после многих месяцев у печи для обжига кирпичей, так почернело от солнца и пыли, что он казался гораздо старше и был таким угрюмым, что все мы его побаивались; и малышка Мария, похожая на птенчика, с коротко подстриженными волосами под хлопковым платком, которым она всегда покрывала голову. Никто не слышал от нее ни слова с тех пор, как она появилась у нас в начале зимы, и мы только гадали, глухонемая она или нет. Марией мы назвали ее сами. Она спала, свернувшись клубком на своей подстилке, и повсюду ходила за мной хвостиком.

Остальные не захотели вставать, потому что были слишком усталыми, а может, потому, что не захотели слушать то, что слышали уже тысячу раз: все мы были из бедных семей, и наши родители продали нас в надежде вернуть долг землевладельцу или богатому купцу из города. Этим долгом и была та сумма, которую Хуссейн значками отмечал на наших досках.

Вряд ли тут что-то новое.

Икбал, похоже, тоже не мог заснуть: в темноте позвякивала его цепь. В первую ночь на новом месте уснуть ни у кого не получается. Каждый из нас сменил по два или три хозяина, так что мы хорошо это знали.

Мы уселись вокруг него. Ночь была безлунной, и в этой кромешной тьме мы едва различали очертания друг друга.

— Али, ты там повнимательней, — шепнули мы нашему сторожу. Если бы хозяин нас застал, он бы страшно разозлился. Он говорил, что если мы ночью не спим, то на следующий день мы сонные, ничего не соображаем и работаем кое-как.

Али несколько раз коротко свистнул, что означало: «Все в порядке».

— Мой отец выходил на работу ни свет ни заря, — начал свой рассказ Икбал, — с первыми лучами солнца, и сразу впрягал буйвола в плуг. В это время даже летом воздух еще свежий, есть чем дышать. А вокруг всё поля и поля и другие крестьяне, за той же работой. Я всегда шел за ним и нес сумку с водой и овощами, которые мама готовила нам накануне. В первые часы отец работал бойко — казалось, его худые руки даже не чувствовали

тяжести плуга. Но вскоре земля становилась словно каменной, он начинал двигаться все медленнее, и я видел, как по его лицу и груди бегут ручейки пота, а красная пыль все гуще покрывает волосы. Плуг уже не входил в землю так глубоко, как раньше, а буйвол упрямился от жары и мычал. Потом, с полудня до трех, солнце палило совсем безжалостно, и работать было невмоготу. Очертания всего, что было вокруг, стирались в знойной дымке. Тогда мы садились отдохнуть под деревом, ели фасоль и делали по глотку теплой воды, а буйвол обмахивался хвостом, отгоняя мух. «Это благословенная земля, — говорил мне отец, — плодородная, богатая. Посмотри, как все здесь растет, достаточно посеять зерно, и с божьей помощью любая семья может жить в достатке. Запомни хорошенько, Икбал». «Да, отец», — отвечал я. Но в нашем-то доме не было достатка, еды всегда не хватало, а мой старший брат постоянно кашлял и был совсем плох. Однажды я спросил у отца, почему всю пшеницу, и овес, и овощи, что мы выращивали, грузят на тачки и увозят в тот же день, когда мы их собирали, а в нашей лачуге остается лишь по мешку самого плохого зерна и сухой фасоли. «Потому что все это принадлежит хозяину», — объяснил отец. «А это разве справедливо?» — «Он хозяин, а мы кто?»

— Мой отец тоже так говорил, — перебил его Салман. — А еще по вечерам закрывался в нашей хижине и проклинал хозяина на чем свет стоит, говорил, что тот жадный и злой. Мать тряслась от страха, умоляла его: «Молчи, ради бога! Если тебя услышат…» Она была уверена, что у хозяина тысяча глаз и ушей. Эти женщины! — фыркнул он напоследок. — Ничего не понимают.

Я уже открыла рот, чтобы вмешаться — что это он такое несет. Вбил себе в голову, что все женщины — глупые курицы и толку от них никакого. Но я работала столько же, сколько он, а иногда и больше. Однако я промолчала, потому что характер у Салмана был непростой — он не любил, когда ему перечат. Он вообще был бунтовщиком, один раз уже провел за это два дня в Склепе, а когда вышел, измученный жарой и покусанный скорпионами, плюнул себе под ноги и сказал: «Пустяки».

Он обо всем говорил «пустяки». Обо всем, кроме кирпичной фабрики. Но о ней он никогда не рассказывал. Я и представить себе не могла, каково это — делать кирпичи, и только молилась о том, чтобы хозяин не продал меня туда. Что бы со мной тогда стало?

— О хозяевах нельзя говорить плохо, — заявил Карим. — Вот что бы мы делали без Хуссейн-хана? Это он нас кормит и защищает. Это он дает нам работу, чтобы мы помогли нашим семьям вернуть долги.

— О да. И это он скоро тебя выгонит, потому что ты ни на что не годен, и ты будешь побираться на улице, — передразнил его Салман.

— Неправда, — обиделся Карим, — я хозяину нужен, потому что я ему верно служу, и он это знает.

— Ага, вот он и сделал из тебя стукача.

Я подумала, что сейчас они сцепятся и подерутся. Салман говорил правду: Карим всегда был готов донести Хуссейн-хану обо всем, что творилось в мастерской. Но иногда казалось, что он на нашей стороне. Мне это было трудно понять.

— Мой отец — хороший человек, — сказал Икбал, — он никогда никого не проклинал. И всегда принимал свою судьбу. Даже когда моему старшему брату стало хуже, и он начал кашлять и стонать ночами напролет, мой отец не возмущался. Просто отправился в поселок за доктором. Пришел доктор, в очках и с чемоданчиком. Сел на корточки у соломенной подстилки брата и каким-то инструментом послушал у него внутри, сначала в груди, а потом в спине, покачал головой.

— Да, — сказал Карим, — я такое тоже видел.

— Потом пошептался с отцом, взял шляпу и трость из бамбука и ушел. Моя мать плакала, она уже знала, что такое потерять сына. На следующее утро, пока мы впрягали буйвола в плуг, отец сказал мне, что доктор вернется и принесет лекарство, которое может спасти брату жизнь. Доктор и впрямь вернулся, а с ним еще один человек, хорошо одетый, купец или землевладелец, и он тоже говорил с отцом и потом достал из пояса деньги и показал моему отцу, а отец помотал головой и ответил: «Нет».

— И что случилось с твоим братом? — спросила я.

— Он все не выздоравливал. Бредил день и ночь. У отца не было другого помощника в поле, я еще не дорос. Он долго говорил с мамой. Потом сел на буйвола и отправился в деревню. Вернулся под вечер, пошел в поле с мотыгой, даже не переодевшись с дороги, и работал там до самой темноты. Потом пришел домой еле дыша и, не поужинав, позвал меня к очагу и сказал, что один человек готов одолжить ему большую сумму денег, двадцать шесть долларов. Я попробовал посчитать, сколько это в рупиях, но не смог. На эти деньги, по словам отца, они смогли бы прожить до следующего урожая, а у моего брата было бы лекарство, и он бы выздоровел, если на то будет Божья воля. А мне придется работать, сказал он, чтобы помогать семье выплатить долг. Мы не увидимся много месяцев, но зато я научусь плести ковры, а это всегда может пригодиться в жизни.

— Мой отец тоже взял денег в долг, — прошептала я в темноте, — после того как прорвало плотину и мы потеряли весь

урожай.

— И мой тоже, — сказал Карим, — но из-за чего, я не знаю.

— Мой отец, — продолжил Икбал, — еще сказал, что вместо меня мог бы отправить одну из моих сестер, но я ответил: «Нет, лучше меня». Тогда он обнял меня и спросил: «Ты боишься?» А я соврал: «Нет».

Хозяин ковровой фабрики появился уже следующим утром. Он приехал на автомобиле и разговаривал очень вежливо, даже с моей мамой. «Я отвезу тебя в город, — сказал он мне, — тебе там понравится, увидишь». Мы сели в машину, и я прижался лицом к заднему стеклу: последнее, что я видел, был мой отец, который до крови хлестал буйвола в поле. Как тот мычал, бедняга, если б вы слышали!

Все помолчали.

— Ну, ничего, — сказал наконец Карим, — ты-то быстро выплатишь отцовский долг. Я в этом разбираюсь, я многих тут повидал. Никто не работает лучше и быстрей тебя. Значки на твоей доске будут исчезать так же быстро, как снег на солнце.

Сквозь темноту я увидела, как на мгновенье, словно в ухмылке, блеснули белые зубы Икбала.

— Выплатить долг невозможно, — медленно сказал он, — как бы быстро и хорошо ты ни работал.

— Ты с ума сошел! — закричал Салман. — Ты из злости так говоришь! Напугать нас хочешь? Каждый день хозяин стирает по метке, а когда они закончатся, мы вернемся домой. С кирпичами так же было, ты что думаешь: нужно было сделать тысячу кирпичей в день, каждая тысяча — сто рупий. Вся моя семья там работала. И сестры тоже.

— И вы выплатили долг? — спросил Икбал.

— Нет, — проворчал Салман. — Но ведь то шли дожди, то в глине было слишком много песка, а некоторые кирпичи ломались, когда мы их доставали из печи…

— Вы когда-нибудь видели того, кто выплатил долг? — еще раз спросил Икбал.

В темноте я почувствовала, как малышка Мария прижалась ко мне всем телом. Может, она все-таки слышала и понимала, о чем мы говорим? Я-то поняла, и меня злило, что новенький говорит такие вещи. Мне хотелось крикнуть: «Ты все врешь!», но, хоть я его и не знала, он совсем не был похож на обманщика.

— Нет, — сказали все мы, один за другим, — нет, мы никогда не видели никого, кто выплатил долг.

— Да, но… — снова попытался возразить Салман.

В этот момент Али, который и нас слушал, и за дверью успевал следить, свистнул два раза, решительно и протяжно. Это

был сигнал. Мы быстро скользнули обратно на свои подстилки. Я пыталась заснуть, но у меня никак не получалось, я только ворочалась. И скоро я снова поползла по пыльному глиняному полу. Этот новенький, Икбал, тоже не спал. Я подползла поближе, чтобы меня не услышали остальные.

— Что ты имел в виду? — рассерженно зашептала я ему на ухо. — Что мы никогда не сможем уйти отсюда? Что мы больше не вернемся домой?

— Ты кто? — спросил он меня.

— Меня зовут Фатима.

Он помолчал несколько секунд, а потом спросил:

— Ты умеешь хранить секреты, Фатима?

— Конечно, за кого ты меня принимаешь?

— Тогда тебе я скажу, — его голос стал еще тише. — Мы уйдем отсюда, можешь не сомневаться.

— Ты же говорил, что невозможно выплатить долг, — напомнила я.

— Невозможно. Но мы уйдем по-другому.

— И как же? Похоже, не зря хозяин назвал тебя всезнайкой.

— Сбежим, вот как.

— Ты сумасшедший!

— Не сумасшедший. Сбежим, и я возьму тебя с собой.

Я совсем не знала его тогда. Он мог оказаться просто хвастуном или сумасшедшим. Но я ему поверила. Я вернулась на свою подстилку и всю оставшуюся ночь проворочалась без сна. Его слова вертелись у меня в голове, и я никак не могла их прогнать. Они были назойливее мухи.

«Сбежим!»

# 5

Месяц с лишним не случалось ничего особенного. Жара становилась все мучительней, а работа — все тяжелее. Хуссейн-хан ходил кругами по мастерской, психовал, заламывал руки, поминая Аллаха и Пророка, то гладил нас по голове своими жирными пальцами, то угрожал расправой и раздавал подзатыльники. Те, кто жил тут давно, знали, почему он ведет себя так странно: Хуссейн ждал клиентов, скорее всего иностранцев, и боялся, что ковры, над которыми мы работали, не понравятся этим важным господам.

Он называл нас «крошки мои», «птенчики» или даже «детки мои любимые», без конца напоминал, что именно он избавил нас от голодной жизни и что он тратит на нас столько, что даже терпит большие убытки. Умолял не губить его — ведь его погибель будет и нашей, — а потом грозил самыми ужасными наказаниями. И он не шутил — мы хорошо знали, что, когда хозяин ждал клиентов, можно было запросто угодить в Склеп из-за любого пустяка.

Мы с трудом дотягивали до вечера, совершенно обессиленные, с изрезанными в кровь подушечками пальцев. Больше всех боялся хозяйского гнева Карим: идти ему было некуда, и, если бы хозяин его выгнал, что бы он стал делать один — без дома, без семьи? Наверняка стал бы попрошайничать на базаре вместе с другими нищими. Так что в течение дня на нас кричал еще и он и грозился донести хозяину, если мы хоть на секунду поднимали голову от станка.

Но потом, ночью, видя наши слезы и истерзанные пальцы, Карим все-таки сжаливался. Поднимался со своей койки, ворча, что мы никчемные неженки, зажигал свечу за ширмой и давал каждому немного мази, успокаивающей раны, из жестяной банки, которую он неизвестно где добыл.

Хотя многим из нас доставалось из-за его доносов, надо признать, что Карим не был злым. Все мы знали его историю: его отдали Хуссейн-хану, когда ему было чуть больше семи. И с тех пор вся его жизнь проходила в этих стенах — этот дом стал его домом, и я даже думаю, что он по-своему привязался к Хуссейну, несмотря на то что работал, как мы, плакал, как мы, и, как и мы, знал, что такое Склеп. У Карима — как и у всех нас — не было выбора. Теперь, когда он вырос и не мог ткать ковры, он боялся, что его просто-напросто вышвырнут, как пару старых прохудившихся туфель.

Когда нам попадало из-за него, мы злились, но в глубине

души понимали, что его судьба могла стать и нашей. Впрочем, нам не приходилось тогда часто думать о будущем.

Единственный, кого обошел ураган угроз и молений Хуссейна, был Икбал. Его хозяин почти никогда не попрекал и уж точно не позволял себе лезть к нему со своими притворными ласками. Время от времени он просто проходил мимо его ткацкого станка, смотрел, как далеко Икбал продвинулся с ковром, но ничего не говорил. Икбал же вообще не обращал на него внимания: не отрывался от работы, не жаловался, не плакал, не дразнил Хуссейна за его спиной.

— Видно, цепь его приструнила, — говорил кто-то из ребят.

— Да нет, — отвечал кто-то, — это он хозяину в любимчики набивается.

Я знала, что это было не так. А самого Икбала ничуть не волновала эта болтовня, и ему, казалось, было совсем не интересно отвечать на провокации. Что там говорить — нам, детям, нужно было быть дружнее, раз нам выпала одна участь, а мы вместо этого часто ссорились, разбивались на группки, и старшие командовали младшими, словно это могло как-то облегчить нашу судьбу.

«Не обращай внимания» — все, что говорил мне на это Икбал.

Как-то в полдень, во время обеденного перерыва, пока мы отдыхали на выжженном солнцем дворе, Карим завел разговор — с тем хитрым и таинственным видом, какой он всегда напускал на себя, когда решал поделиться подслушанной хозяйской тайной.

— Нам не стоит обижать нашего нового друга, — сказал он, показывая на Икбала, — оказывается, он особенный. Ценный. Я слышал, как Хуссейн говорил об этом одному торговцу.

Все притихли и стали слушать внимательно.

— И что же в нем такого особенного?

Карим подождал, пока все внимание не будет приковано к нему. Сперва он махнул рукой, как бы говоря: «Я-то знаю, но вам не скажу», потом огляделся вокруг, чтобы убедиться, что никто, кроме нас, его не слышит, повел плечами, плюнул на пыльную землю и еле слышно зашептал:

— Ковер, над которым он сейчас работает, не такой, как все остальные. Это голубой «Бухара», слышали про такой? Эти ковры делают не чаще двух-трех раз в год — так Хуссейн сказал, я своими ушами слышал. Стоит «Бухара» кучу денег, так что кому попало его не доверят, тут нужен мастер.

Он снова сплюнул.

— Так вот, получается, наш дружок-то мастер. Кто бы мог подумать, а?

Пятнадцать пар глаз уставились на Икбала.

— Это правда? — спросили мы.

Икбал покраснел до ушей.

— Не знаю, — пробормотал он.

— Да знает он, знает, — сказал Карим, — он уже такой ковер делал. Хуссейн говорил, я слышал.

— Что, правда? Правда? — принялись спрашивать все в один голос.

— У меня было три хозяина до Хуссейн-хана, — ответил Икбал, — и да, для одного из них я делал такой ковер.

— И как же у тебя получилось?

— Не знаю. Я просто повторил рисунок, который мне дали.

Мы молчали несколько минут, обдумывая то, что услышали.

— Но если это так, — сказал мальчик, который с семьей бежал из Индии и немного заикался, — почему тогда твои прошлые хозяева тебя продали?

— Я не знаю, — снова пробурчал Икбал.

Было видно, что он стесняется всей этой истории и ему неприятно, что зашел этот разговор.

— А ты, Карим, ты же у нас все знаешь, — не слышал, почему его продали, если он такой особенный?

Карим надулся как индюк:

— Я-то знаю, но вам не скажу. Хозяин мне доверяет и не любит, чтобы я болтал направо и налево.

Тут Карим надулся так, что стал круглым как шар, и тогда мы сказали: «Смотри лопнешь!» — ну он и разозлился! Потом, когда все снова утихли, мальчик с очень темной кожей, который видел море, потому что был родом с юга, поднялся с бортика колодца, где сидел все это время, и подошел к нам.

— Раз так, — сказал он, — хозяин спишет твой долг. Если этот ковер и вправду так много стоит, то он точно простит тебе долг.

Мы все кивнули в знак согласия. Никому из нас еще так не везло.

— Можете не сомневаться! — воскликнул Карим. — Вы бы видели, как Хуссейн-хан боится, что Икбал не успеет закончить вовремя, или что узор выйдет недостаточно хорошим, или что он допустит где-нибудь ошибку и ковер придется выбросить. Он точно простит ему долг, если ковер выйдет что надо. Хуссейн — справедливый хозяин.

В этом многие из нас не были так уж уверены. Но все смотрели теперь на Икбала другими глазами, и почти все с завистью: у него-то точно все получится.

— Он не спишет мне долг, — медленно сказал Икбал. —

Прошлые хозяева тоже этого не сделали. Долг выплатить невозможно.

Поднялся хор возмущенных голосов: зачем тогда мы работаем с утра до ночи? на что нам теперь надеяться? и кем он себя вообще возомнил, этот Икбал, — в конце концов, он новенький, да еще и самый везучий, какое у него право так над нами издеваться? Даже Салман и Али, которые слышали ночной разговор, считали, что он говорит неправду.

— Ты все врешь! — крикнул ему Али со слезами на глазах.

Салмана же просто трясло от гнева.

После этого разговора все начали относиться к Икбалу с неприязнью: говорили, что он задавака и, как Карим, за Хуссейна.

Я пыталась его защищать, но меня, девчонку, никто не слушал.

У меня же вошло в привычку почти каждую ночь, перед тем как уснуть, подползать к подстилке Икбала — она была недалеко от моей — и болтать с ним о том о сем. Я не верила тем глупостям, что про него говорили; и потом, если бы хозяин и впрямь простил ему долг, я была бы только рада.

Мы лежали в темноте, в полуметре друг от друга, и слушали город: шум машин, который по ночам не смолкал, а лишь становился глуше, неожиданные вскрики, вопли какого-нибудь пьяного мужчины — а ведь Аллах запрещает пить вино — и другие звуки, загадочные и странные. Мы оба были из деревни, а там каждый ночной звук понятен: хищная птица, буйвол, отвязавшийся от узды, лай бродячей собаки или шатание беспокойного духа, следы которого — ободранную кору дерева — можно найти наутро.

Но даже духов мы не боялись по-настоящему, потому что они были частью нашего мира, пусть и невидимой.

А вот что́ и как в городе, мы совсем не знали: мы видели его лишь мельком сквозь окна фургона хозяина, когда он увозил нас от наших семей.

Из увиденного мне больше всего запомнились люди — так много людей я никогда в жизни не видела. Они носились как угорелые, и, казалось, никто из них не знает, куда именно он бежит.

А на Икбала самое большое впечатление произвел автобус. Огромный, сверкающий всеми цветами пакистанский автобус — фары слепят, гудки мычат, словно стадо буйволов. Так он разгоняет уличную толпу, чтобы проехать.

— Вот мне хотелось бы сесть на такой автобус, — рассказывал мне Икбал, — устроиться у окошка и пару раз проехать через весь город, чтобы посмотреть, куда бегут все эти

люди.

— Нет-нет, — спорила я, — лучше пойти в кино. Хочу посмотреть одну из тех историй про любовь, которые нам Карим иногда рассказывает. А еще там есть такие большие разноцветные плакаты, а на них история фильма и лица актеров. Некоторые из актеров такие известные, что их даже на улицах узнают.

— Актеры по улицам не ходят.

— Ты откуда знаешь? Некоторые ходят.

Еще мы говорили о наших семьях, о том, что мы еще помнили или что забыли и, возможно, никогда уже не смогли бы вспомнить. Я, например, уже совсем не помнила отца и только чуть-чуть маму. Икбал же помнил все, каждый предмет в хижине, где он жил, и как его отец каждое утро перед рассветом спускался к реке для омовения, и как он потом с мокрыми волосами шел к конюшне.

Как-то раз Икбал признался, что по ночам перед сном перебирает в голове свои воспоминания, одно за другим, из страха что-то забыть.

— Зачем это тебе? — спросила я.

— Нужно.

— Для чего?

— Для того, чтобы уйти отсюда.

Про побег я с ним больше не говорила, чтобы его не смущать. Я знала, что он сказал не всерьез, хотел пустить нам пыль в глаза, а может, просто сам хотел в это верить. «Ничего плохого тут нет», — думала я.

И еще думала: «Но если бы это было правдой!»

Но чтобы сбежать, нужно знать, куда идти и что делать в городе, которого я боялась. Кто бы там обо мне позаботился, среди всех этих звуков, которые я и назвать как не знала? Уж лучше судьба Карима, лучше на всю жизнь оставаться с Хуссейн-ханом.

Только вот доносить я ни за что бы не стала.

Может, поэтому, несмотря на все усилия, мне никак не удавалось по утрам дотянуться до края окошка в уборной: я боялась, что у меня это получится.

Да и потом, зачем сбегать такому мастеру, как Икбал? Ведь его скоро отпустят за отличную работу. Бежать было просто глупо.

Так что я ничего ему не говорила.

А через три дня после нашего разговора — в день приезда иностранных гостей — во время пятиминутного перерыва Икбал сделал то, что потрясло всех.

# 6

Это было необычное утро. На глазах у иностранцев Хуссейн не мог с нами плохо обращаться.

А нам нужно было показывать, как мы счастливы и всем довольны.

«Это мои ученики, — говорил хозяин ласково. — Я вытаскиваю их из голода и нищеты, учу честно работать, все ради них, ради лучшего будущего. Они мне как родные дети».

Не знаю, верили ему иностранцы или нет. Они вообще странные: одеты всегда элегантно, а глаза холодные. Иногда приходили женщины, с голыми руками и ногами. У них приятно пахли волосы, они смотрели на нас улыбаясь и говорили: «Какие прелестные детки!»

Не уверена, что мы и впрямь выглядели прелестно.

Как бы то ни было, в то самое утро наш завтрак был намного плотнее, чем обычно, и этого уже хватило, чтобы мы развеселились. Мы болтали и смеялись, стоя в очереди к грязной шторке уборной — «двери рая», как ее прозвал какой-то богохульник.

«Болваны» уже вернулись из-за шторки, и в тот день, специально для иностранцев, их не приковали на цепь.

— Тихо, дети, тихо! — прикрикивала хозяйка, пока мы пихались и хихикали в очереди; но голос ее при этом не был грозным, как обычно. И Хуссейн, который обычно просыпался поздно и выползал из дома подтягивая штаны, с опухшим от сна лицом, сегодня был уже давно на ногах, суетился, потел и что-то беспрерывно тараторил.

Карим страшно боялся, что что-то пойдет не так и обвинят в этом его. Ковры, которые мы уже соткали, ждали покупателей на складе, а те, над которыми мы еще работали, были красиво разложены на станках. В общем, в воздухе витал дух праздника.

Я ждала своей очереди — маленькая Мария вцепилась мне в юбку, Али и Салман без конца толкались и щипались, — я чувствовала что-то странное, словно в груди у меня гулял ветер. Мне казалось, что сегодня я точно подпрыгну очень высоко, даже взлечу, и смогу наконец ухватиться за край окошка под крышей нашей уборной.

Никто, конечно, не мог даже представить себе того, что произошло в тот день.

Икбала не было с нами в очереди, он сидел у своего станка, но никто не обратил на это внимания. Как я говорила, в те дни мало кто с ним общался, потому что ему все завидовали — к тому

же хозяин некоторое время назад снял с него цепь, и это только подлило масла в огонь. Да и Икбал держался сам по себе; казалось, он размышлял о чем-то очень серьезном.

Я так и не попала в уборную в то утро и так и не дотянулась до своего окошка с веткой миндального дерева.

Интересно, что некоторые детали помнишь даже по прошествии многих лет — так ярко и четко, словно это случилось вчера. У меня до сих пор перед глазами эта сцена, и до сих пор у меня колотится сердце, когда я вспоминаю об этом.

Я помню, как Хуссейн нервно ходил вдоль нашей очереди. Как он вдруг остановился, перестал махать руками и побледнел, глядя куда-то за наши спины. Я помню его расширенные от ужаса глаза и медленно открывающийся рот с желтыми от табака зубами. Мы обернулись все разом, словно по команде. Я никогда не забуду того, что мы увидели.

Икбал стоял у своего рабочего места. У него за спиной был ковер — тот самый удивительный голубой ковер со сложным цветочным рисунком, какого никто из нас раньше не видел, и ковер этот был совершенным. Икбал выполнил работу почти на треть, работая лучше и быстрее всех нас. Иностранцы сошли бы с ума от такого ковра.

Икбал тоже был бледным, но все же не таким белым, как Хуссейн-хан. Он держал в руках нож — такими мы обрезали нити на узлах, — а потом поднял его над головой, обвел нас взглядом, поглядев на каждого в отдельности, спокойно повернулся и начал разрезать ковер сверху донизу, ровно посередине.

«Нет, — подумала я, — пожалуйста, только не это!»

В тишине, что воцарилась в мастерской, отчетливо был слышен треск разрезаемых нитей.

Спустя мгновение Хуссейн-хан завопил, как раненый зверь. Закричала хозяйка. Закричал Карим, который все повторял за хозяевами. На наших глазах они бросились через мастерскую, поднимая облака пыли и пакли, натыкаясь друг на друга, спотыкаясь и чертыхаясь, но бежали они как-то медленно, как во сне, когда все бежишь, бежишь и никак не можешь добраться до цели.

До того как его схватили, Икбал успел еще два раза полоснуть ножом по самому прекрасному в мире ковру, который теперь был просто кучей грязной шерсти на глиняном полу.

Потом снова наступила тишина, и казалось, она никогда не закончится. Мы инстинктивно, словно защищаясь, столпились в углу мастерской. Громадный Хуссейн-хан нависал над Икбалом. Лицо его побагровело, а вены на шее надулись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Он сжимал в руке нож, который только что

вырвал у Икбала, и у меня в голове мелькнула жуткая мысль: «Он его убьет!»

Хозяйка всхлипывала, собирая по полу остатки ковра и стряхивая с них пыль, как будто можно было еще каким-то чудом соединить их.

Карим схватился руками за голову в полном отчаянии, словно этот ковер принадлежал лично ему.

— Проклятый, — прошипел Хуссейн, — проклятый! Меня предупреждали, что ты предатель, чертов бунтовщик. Мне говорили: «Хуссейн, не доверяй ему! Это гадюка. Ты пригрел на груди змею». Неблагодарное отродье! О, я слепец, я глупец, о чем я только думал… Но ты мне за это заплатишь, еще как заплатишь…

— В Склеп! — взвыла хозяйка. — Брось его в Склеп, и пусть он там сгниет!

Икбала схватили за руки и потащили во двор. Мы потянулись следом, как стайка перепуганных цыплят, и остановились на пороге. Мы видели, как Икбалу ободрали колени о булыжники, как он ударился рукой о край колодца. Хозяин остановился у ржавой железной двери, спрятанной в глубине двора, распахнул ее и, волоча за собой Икбала, стал спускаться вниз по лестнице. Потом мы услышали тот самый жуткий звук, что снился нам в кошмарах, — это поднималась крышка Склепа. А потом — бум! — она захлопнулась, и этот стук еще долго эхом раздавался в душном воздухе двора.

Дышать было нечем. Ни дуновения ветерка. Даже пыль не шевелилась. Только слепни кусали нас за ноги, но никто и не думал их прогонять.

Хуссейн-хан вылез из подземелья; он поднимался медленно и тяжело, нам был слышен каждый его шаг по ступеням. Выйдя на солнце, он сощурил глаза. Потом, захлопнув дверь ногой, направился к нам — мы все еще стояли как пригвожденные на пороге мастерской.

— За работу! — прорычал он.

Мы вернулись к своим станкам. Начали работать. Все одновременно. Одинаковые движения. Одинаковый гул.

Туф, туф, туф.

Хуссейн молча стоял сзади. Мы чувствовали, как его глаза буравят наши спины.

Праздник закончился.

Туф, туф.

Али, который сидел справа, решился повернуться ко мне на долю секунды. Одними губами он задал бесшумный вопрос: «Зачем он это сделал?»

Я коротко мотнула головой: «Не знаю».

Пока его тащили по камням двора, за секунду до того, как исчезнуть в темноте лестничного проема, ведущего вниз к Склепу, Икбал обернулся и посмотрел на меня. Именно на меня, я уверена. Его взгляд был пронзительным, он явно пытался мне что-то сообщить. Может быть, он хотел, чтобы я поняла, зачем он разрезал ковер, почему восстал против хозяина таким безумным способом.

Я не была уверена, что поняла его. Но одно я увидела точно: Икбалу было очень страшно, как и всем нам.

Но все-таки он это сделал.

# 7

Склеп был старой цистерной, спрятанной во дворе глубоко под землей. Сверху в цистерне был люк с решеткой, за решеткой виднелись мокрые скользкие ступени лестницы, ведущей наружу. Как уверяли те, кто побывал в Склепе, в него практически не проникал свет. Разве что в середине дня редким солнечным лучам с трудом удавалось просочиться сквозь дыры и щели в ржавой двери, выходившей на двор. И еще там почти не было воздуха.

— Дышать практически нечем, — рассказывал Салман, побывавший в Склепе за пару месяцев до того: он случайно разбил эмалированный кувшин в желто-синий цветочек, в котором хозяйка приносила нам воды по утрам. — Чувствуешь, что вот-вот задохнешься, и это сводит тебя с ума. Когда воздух заканчивается, кажется, будто кто-то схватил тебя за горло и крепко сжал. А еще темнота. Когда долго сидишь в темноте, начинаешь видеть разные странные узоры и даже цвета, но это не помогает, от этого, наоборот, еще страшнее. Я слышал, кто-то вообще там с ума сошел.

— И еще в Склепе пауков полно, — сказал другой мальчик. Он был родом из гор, поэтому говорил немного странно. — Вот таких огромных. — Он показал ладонь. — И скорпионов. Скорпионы страшные. Они щиплются и кусаются, и еще у них яд. И змеи еще.

— Змей там нет, — презрительно бросил Салман, — там и воды-то нет.

— Нет, есть змеи, — заспорил горный мальчик, — я их видел.

— Ты никогда в Склепе не сидел, — шикнул на него Салман, — так что помолчи лучше.

Никто из нас не спал той ночью, несмотря на усталость и голод, ведь хозяин заставил нас работать на час дольше — после заката — и лишил ужина. Иностранцы приехали, нагрузили коврами свои машины и, едва взглянув на нас, уехали восвояси. Хуссейн-хан, должно быть, хорошо заработал в тот день. Обычно после приезда заграничных клиентов они с хозяйкой устраивали праздник до поздней ночи: в доме играло радио и еще другой инструмент, который назывался граммофон, как объяснил нам Карим. Но это была не обычная музыка, которая играла на базаре. Она была какая-то странная, очень шумная, а слов совсем не понять.

— Иностранная, — говорил Карим с видом знатока, — такую издалека привозят.

На этот раз в доме у хозяев было темно и угрожающе тихо.

— Вы мне заплатите, — сказал Хуссейн, перед тем как отправиться спать, — вы все мне заплатите за то, что устроил ваш дружок. Потому что вы были с ним заодно, я уверен.

Несколько ребят испугались так, что начали было оправдываться и мямлить, что они здесь ни при чем. Но их тут же кто-то ущипнул, чтобы замолчали. На этот раз все были на стороне Икбала.

— Такая жара, — прошептала я, — как же он выдержит?

— Там, наверное, как у печи для обжига кирпичей, — пробормотал Салман, — а то и хуже. Я не знаю никого, кого сажали в Склеп в разгар лета. А вы знаете?

Все отрицательно помотали головой. Солнце в тот день жарило безжалостно, мы потели круглосуточно, даже ночью, и головы у нас горели, как при сильном жаре.

— Никто не может выйти живым из Склепа в разгар лета, — раздался в темноте чей-то голос.

«Замолчите!» — хотелось крикнуть мне. Мария и Али рядом со мной дрожали от страха.

— Может, — сказал Карим своим низким, почти взрослым голосом. — Я видел одного, кто попал в Склеп как раз летом. Хуссейн продержал его там пять дней. Это было много лет назад, я был тогда совсем маленьким, но я хорошо запомнил. Этот парень был старше меня. Не знаю, откуда он был родом. Помню, у него не было уха — свирепый, как бродячий пес, мы его даже побаивались.

— А что он натворил? — спросили мы.

— Отказался работать, вот что. Тогда Хуссейн его выпорол. И как выпорол, надо было видеть. А тот ни звука не проронил, как покорный пес.

— А потом?

— Продолжал отказываться от работы. И когда Хуссейн снова подошел к нему с плеткой, тот его укусил. Схватил зубами за руку и не отпускал. Собака и есть. — Карим сплюнул.

— И тогда хозяин посадил его в Склеп?

— На целых пять дней.

— И он вышел?

— Вышел. Вернее, его вынесли на руках, как мертвого. Но он не умер. Кожа у него вся облезла от жары. Он неделю провалялся на своей подстилке, мы протирали ему лицо мокрой тряпкой. А потом поднялся и сел за работу. Вот я и говорю: стоило так мучиться? Но я вам скажу, он был уже не тот: все еще похож на пса, но теперь — на поджавшего хвост.

— Икбал таким не станет, — крикнула я.

— Он тоже сдастся, — ответил Карим, — ты что думаешь? Не

такой уж он особенный. Да он, похоже, у всех прежних хозяев выступал — я слышал, Хуссейн говорил. Поэтому его и продавали, хоть он такой мастер. Но Хуссейн-то знает, что с ним делать.

— Икбал не сдастся, — снова повторила я, — и мы должны ему помочь.

— Помочь? — пробурчал Карим. — Пока что мы по его вине остались без ужина.

— Ты бы лучше помолчал про ужин! Ты-то свой получил, — осадил его Салман. — У меня здесь припасен кусок хлеба.

— А у меня есть вода, — сказала я. — Пошли?

— Вы с ума сошли! — закричал Карим. — Я вам запрещаю… Если хозяин увидит, он такое устроит…

— Заткнись! — шикнул Салман.

Мы на цыпочках прокрались к двери мастерской. Каждую ночь Хуссейн запирал ее на ключ в три оборота. По мне, совершенно бессмысленно: куда мы могли убежать? Но только теперь мы не знали, как выйти.

— У него есть ключ, — сказал Салман, показывая на Карима. — Открывай, пошевеливайся.

— Забудь об этом!

— Давай так: ты открываешь и идешь с нами. Если хозяин тебя увидит, скажешь, что мы пытались убежать, а ты хотел нас поймать. Лучше соглашайся, не то…

Надо сказать, что Карим хоть был и старше всех, но был совсем худым, можно сказать хилым, и особой смелостью не отличался. А Салман был крепким, как бычок, и все его боялись.

Карим почесал в затылке, потоптался на месте, оглянулся по сторонам, словно ища поддержки, потом сплюнул и сказал:

— Черт с вами!

Он нащупал большой железный ключ на дне кармана, затем еще побурчал, но открыл-таки дверь.

Было немного за полночь, когда мы оказались на улице. Безлунная ночь, черное и чистое небо — летом у нас редко бывает облачно; ветер еле слышно шевелил листву на деревьях. Мы на секунду остановились на пороге и вытерли пот с лиц.

«Как же там, внизу?» — подумала я, и мне стало жутко.

Мы доползли на карачках до края каменного колодца: я, Салман и маленький Али, который уговорил нас взять его с собой. Хозяйский дом был темным и зловещим. Мы знали, что у Хуссейн-хана сон крепкий, как у быка, — иногда по ночам он храпел так, что, казалось, гром гремит. Но вот его жена просыпалась от любого шума, стоило хрустнуть ветке или пролететь ночной птице. Мы не раз видели, как хозяйка бродила

по двору в темноте, бормоча что-то себе под нос и заглядывая в каждый угол.

Что, если они нас заметят?

От края колодца мы в два прыжка оказались в укрытии — за фургоном Хуссейна. Здесь пахло бензином и машинным маслом. Но вот отсюда до железной двери, ведущей в Склеп, надо было пройти как раз под окнами хозяйского дома, и спрятаться было негде. Мне казалось, мы точно разбудим хозяйку. Я была уверена, что она стоит за занавеской и только и ждет, чтобы мы сделали хоть один шаг в ее сторону.

На секунду мне захотелось вернуться, но тут же стало стыдно. Я обернулась и посмотрела на прыщавое лицо Салмана: возможно, он думал о том же самом, но знал, что идти надо ему. Я, в конце концов, девочка, а Али еще слишком маленький.

— Я пошел, — прошептал Салман и сглотнул три раза.

Он встал на четвереньки, сжал в зубах узелок с хлебом. Казалось, прошла целая вечность, пока он полз, громко шурша камнями и отклячив свой огромный зад, который даже в темноте было видно за километр… Наконец он скрылся в тени. В короткой тишине между всхрапываниями Хуссейна мы еще пару раз услышали шорох, а потом слабый свист.

— Давай, — послышался голос из темноты.

Али прополз легко и быстро, как котенок, через мгновение его уже не было видно.

Снова раздался свист.

«Ну, — подумала я, — теперь моя очередь».

Выйдя из укрытия, я почувствовала себя слабой и беззащитной. Мне нужно было ползти, держа в руке бутылку воды, которая в любую минуту могла опрокинуться. Два метра, может, три. Камни под ногами врезались мне в колени. В кромешной темноте все звуки были слишком громкими: шуршание одежды по земле, шум моего дыхания и даже стук сердца.

Проползая под окном спальни, я всем телом прижалась к земле, оставив поднятой только руку с водой.

Двор все не заканчивался. «Меня точно поймают и посадят в Склеп к скорпионам и змеям, — думала я. — Змеи там наверняка есть, что бы ни говорил Салман». Но тут я уткнулась в Салмана и Али, которые ждали, прижавшись к железной двери.

— Что ты там так долго возилась?

— На себя бы посмотрел!

— Где Карим?

Мы оглянулись по сторонам.

— Карим! — тихонько позвали мы. — Карим!

Из темноты, словно призрак, возникла долговязая фигура в белом. Карим шел вразвалку и не спеша, держа руки в карманах. Разве что не насвистывал. Ни дать ни взять — вышел прогуляться по султанскому саду! Он удивленно посмотрел на нас:

— И стоило ползать по всем двору!

— Пригнись, дурень!

Железная дверь была тугой и тяжелой, с проржавевшими петлями, заросшими травой. Мы попробовали ее открыть, но она почти не сдвинулась.

— Давай, посильнее!

Дверь чуть приоткрылась, и через щель шириной в ладонь на нас дохнуло сыростью подземелья.

— Сильней!

Наконец дверь отворилась — но с каким страшным скрипом!

— Тихо!

Зажегся свет.

Мы замерли, как ночные зверьки, застигнутые врасплох охотниками. Я почувствовала, как у меня трясутся ноги, словно они сомневались, стоять им на месте или броситься наутек.

«Беги! — кричал голос у меня в голове. — Беги!»

Салман схватил меня за руку:

— Не двигайся! — прошипел он.

Окно спальни распахнулось. Двор озарился квадратом света. Кто-то высунул голову и посмотрел по сторонам.

Конечно, это хозяйка. И наверняка она нас увидела, как же иначе.

— Я слышала шум, говорю тебе, ничего мне не приснилось! Это они, проклятые, больше некому!

Из глубины комнаты послышалось глухое бормотание.

— Да ты даже пушку не услышишь! Пойду проверю.

Снова бормотание, но более протяжное и сердитое. Хозяйка чуть ли не наполовину высунулась из окна и уставилась своими цепкими глазами в темноту — туда, где стояли мы. Нас отделяли от нее метров двадцать, и я была уверена, что мы видны как на ладони. Я чувствовала на себе ее взгляд.

Но на самом деле она нас не видела. Не знаю почему. Она еще немного повертела головой, что-то пробурчала, потом с шумом закрыла окно и погасила свет.

Мы выждали какое-то время, показавшееся мне бесконечно долгим. Понемногу сердце стало биться тише, а возобновившийся храп Хуссейн-хана совсем нас успокоил.

Пока мы спускались друг за другом вниз по крутой скользкой лестнице, воздух становился все плотнее и дышать было все труднее. Мы снова покрылись потом. Нам приходилось идти на

ощупь, цепляясь за скользкую, покрытую мхом стену. Вдруг мы услышали под ногами металлический звук. Это была решетка Склепа.

— Икбал, — позвала я тихо. — Икбал!

Карим порылся в кармане и вытащил коробку спичек. В тусклом свете мы наконец его увидели: Икбал с трудом поднялся нам навстречу из угла, где лежал свернувшись клубком. Губы его потрескались от жажды, глаза болели даже от света спички.

Цистерна была широкой, но такой низкой, что, встав на ноги, можно было дотянуться до края решетки кончиками пальцев. Я протянула Икбалу бутылку с водой. Он жадно выпил, а последние несколько капель вылил на лицо.

Как странно: горло у Икбала совсем пересохло, так что он не мог говорить, а мы, оказавшись рядом с ним, могли бы о стольком спросить, но совершенно не знали, что сказать.

Я была очень смущена и взволнована, сердце у меня сжималось от страха при виде Икбала: он был уже плох. И это только первый день! Салман совсем перестал понимать, что к чему. Карим делал вид, что он здесь ни при чем.

Али наклонился над решеткой и взял Икбала за руку:

— Потерпи, — сказал он ему, — теперь мы с тобой.

— Да, — сказала я, — мы будем приходить каждую ночь.

— Да уж, — сказал Салман, — отчаянный ты тип, ничего не скажешь.

— Еще чего, каждую ночь, — сказал Карим, — я не собираюсь так рисковать.

— Спасибо, — просипел Икбал. Голос у него скрипел, как заржавевший.

Само собой, мы приходили каждую ночь.

# 8

Икбал вышел из Склепа три дня спустя. Он шел через двор еле держась на ногах, ослепленный ярким солнечным светом, его руки были все в мозолях и укусах насекомых — и нам всем стало его очень жалко, но в то же время мы почувствовали гордость за него. Нам хотелось кричать, хлопать в ладоши, прыгать, но Хуссейн свирепо на нас зыркнул, и мы так и остались молчать. Хозяин дал Икбалу отдохнуть сутки, и мы тоже сдерживали любопытство и не приставали к нему с расспросами. Мы по очереди дежурили у его постели, прикладывали к ранам губку, смоченную холодной водой, — как же здорово было видеть, что благодаря этим дежурствам, еде, питью, а также апельсинам, которые Али воровал для него в саду, он быстро шел на поправку.

— Брат, — обратился к нему Салман, когда Икбал наконец поднялся на ноги и смог позавтракать с нами, — ты очень смелый. Никому не хватило бы духу сделать что-то подобное. Знал бы ты, как Хуссейн-хан все еще бесится из-за этой истории с ковром. Но все равно ты сглупил. Чего ты всем этим добился? Трех дней в Склепе, вот чего.

— Но ведь вы тоже рисковали, когда по ночам приходили ко мне, — возразил Икбал. — Если бы хозяин вас обнаружил, чего бы вы добились?

— При чем здесь это? — удивился Салман. — Мы это делали для тебя.

— Ну, — сказал Икбал, — я тоже, в каком-то смысле, сделал это для вас, а не для себя.

— Что ты имеешь в виду? — спросила я.

— Я имею в виду, что мы не должны так жить. Нам нужно вернуться домой, а не оставаться здесь рабами, прикованными к станку.

— Я тоже хочу вернуться домой, — сказала я. — Но нам же нельзя.

— Почему нельзя?

— Да потому… потому… — вспылил Салман, — потому что хозяин сильнее нас. Потому что это всегда так было. Потому что до нас никому нет дела.

— Мы найдем того, кому есть до нас дело. Там, снаружи. Ведь кому-то должно быть не все равно.

Мы уставились на него с открытым ртом.

— Там, снаружи? Да что ты задумал?

— Не знаю, — сказал Икбал.

— Ты точно перегрелся там, в Склепе, парень, — сказал

Салман, покачав головой. — Здесь всем слишком страшно.

— Это неправда, — улыбнулся Икбал, — тебе не страшно. И Фатиме тоже. И даже Али.

— Я вообще никого не боюсь! — пискнул Али, выглядывая из-за моей юбки.

— Даже Карим боится меньше, чем раньше. Правда?

— Нечего впутывать меня в ваши делишки, — прошипел Карим. — И потом, я-то уж точно ничего не боюсь.

— Даже Хуссейна?

— Я его не боюсь, — гордо заявил Карим. — Я его уважаю. Это совсем другое.

— Ну-ну.

— По-моему, все стали меньше бояться, — сказал Икбал.

— В очередь! В очередь! — загорланил Карим, заметив во дворе огромную тень хозяйки.

Весь следующий месяц все шло как прежде — по крайней мере, нам так казалось. Дни были похожи один на другой, солнце уже не так жарило, а иногда среди ночи сверкала молния, напоминая о том, что скоро начнется сезон дождей. Одного из ребят постарше как-то вечером увел хозяин, и мы его больше не видели. Может, Хуссейн продал его кому-то, кто знает. Мы привыкли к тому, что все время кто-то приходит, а кто-то уходит, и даже не огорчались из-за этого. Или, по крайней мере, не показывали виду.

На освободившееся место привели высоченного и худого паренька с торчащими лопатками, а его ребра пересчитать было легче легкого. Его сразу прозвали Щепкой.

Два дня спустя он поранил руку, Хуссейну пришлось ее забинтовать, и Щепка остался без работы. Хуссейн воздевал руки к небу и причитал, что он так неудачно вложил деньги. Чтобы Щепка не прозябал без дела, его вооружили метлой и заставили убираться в мастерской, мести двор и, если понадобится, хозяйский дом. Он весь день ходил туда-сюда и поднимал больше пыли, чем сметал. А мы передавали через него записочки друг другу.

Потом мы все заболели дизентерией и бегали в закуток за занавеской чаще, чем хотелось бы.

Короче, ничего необычного.

И все же, если подумать, что-то было по-другому, хотя тогда я этого не замечала. Сложно объяснить… словно поменялась атмосфера в мастерской. Мы работали, как прежде. Мы по-прежнему терпели притеснения от Хуссейна. Каждый вечер мы, как всегда, смотрели, как он стирает по одному значку на наших

досках и как их остается по-прежнему много, очень много.

Но все-таки… никто не отдавался работе целиком, как раньше. После обеденного перерыва мы возвращались в мастерскую как можно медленнее, бурча и еле волоча ноги. Днем во время бесконечной работы мы все чаще отвлекались, болтали друг с другом или даже хихикали, и крики и угрозы Хуссейн-хана действовали далеко не сразу. Щепка болтался там и сям, поднимая клубы пыли и усиливая общую неразбериху.

Однажды ткацкий станок Мухаммеда, заики с гор, сломался, и, хоть Хуссейн-хан и был убежден в том, что это был самый настоящий саботаж, он не решился засунуть Мухаммеда в Склеп на неделю. В другом станке запутались челноки, и понадобилось несколько часов, чтобы он снова заработал.

Икбал успокоился. Хозяин приказал ему заново начать тот самый ковер, который он уничтожил, и он работал серьезно и внимательно — проворно и умело, словно ничего и не случилось.

Хуссейн-хан все время за ним следил, но старался, чтобы мы этого не замечали. Он с угрюмым видом бродил по мастерской, заложив руки за спину, и то и дело резко оборачивался, чтобы посмотреть на Икбала. Казалось, что Хуссейн нервничает, что это он теперь боится, а не мы. И чем больше становился ковер Икбала, тем более нервным и раздражительным становился хозяин. Но к самому Икбалу он ни разу не обратился, ни словом его не попрекнул.

В общем, все было как-то необычно.

— Хуссейн боится, что я снова уничтожу ковер, — объяснил нам Икбал. — Он тогда потеряет много денег.

— Но ты ведь не сделаешь такой глупости, правда? — спросила я с тревогой.

— И в мыслях нет, — уверил он меня.

Теперь наши ночные собрания стали практически ежедневными. Мы даже не дожидались, когда в доме хозяев погаснет свет: едва Хуссейн защелкивал замок на старой цепи и уходил прочь, мы вставали со своих подстилок и усаживались в круг. С нами усаживался странный парень Щепка и иногда кто-то из других ребят.

— Нам бы сбежать всем сразу, — предлагал Щепка, — представляете, какое лицо будет у Хуссейна! Я его терпеть не могу, он еще хуже, чем мой прежний хозяин. Давайте станем настоящей бандой и захватим грузовики, которые приезжают в город.

— Почему грузовики?

— Там полно еды.

— Что за ч-чушь, — заикался Мухаммед, — нам нужно бежать

в горы, к-ко мне. Там хозяин до нас ник-когда не д-доберется.

— А до тебя он тогда как добрался?

— Ч-черт его знает!

Мы выпускали пар. Нам было даже весело. Но мы прекрасно знали, что ничего не изменится. У нас было правило, одно из первых, которое усваиваешь, когда тебя забирают из дома работать: никогда не говорить о будущем.

Никто из нас не мог позволить себе сказать: «следующим летом», или «через год», или «когда я вырасту». Конечно, мы говорили о том дне, когда выплатим долг, об этом мы еще как говорили — чуть ли не до изнеможения. Но никто из нас по-настоящему в это не верил. Это было вроде стишка, который знаешь наизусть и повторяешь, когда тебе одиноко. А что нам еще оставалось?

Икбал был первым, кому хватило смелости произнести вслух, что долг никогда не выплатить. И он был единственным, кто говорил о будущем.

Я хорошо помню ту ночь. Уже началась осень, и было слышно, как дождь барабанит по пластиковой крыше мастерской. Мы двое шли спать всегда последними, нам нравилось оставаться вдвоем, чтобы поговорить еще немного.

— Фатима, — прозвучал в темноте его голос, — следующей весной мы с тобой запустим воздушного змея. Помни об этом, что бы ни случилось.

Я ничего не ответила. А что я могла сказать? Я понимала, что он собирается сделать очередную глупость и я все равно не смогу ему помешать.

Я сказала самую банальную вещь на свете:

— Береги себя!

Следующей ночью, когда бушевала гроза, Икбал встал незадолго до рассвета, проскользнул — не знаю как — через то самое узкое окошко за грязной занавеской, пересек сад Хуссейн-хана и сад его соседа, перелез через стену, пробрался через два огорода — там наутро обнаружили его легкие следы, — добежал до дороги и исчез.

# 9

Два дня мы ничего о нем не слышали. Обнаружив побег, Хуссейн собрал родственников и друзей, они расселись по фургонам и отправились искать Икбала, проклиная его на чем свет стоит.

Весь день мы были как на иголках и каждую минуту оборачивались к двери, в проеме которой были видны ворота. Хуссейн вернулся на закате, черный от злости, он насквозь промок, сапоги все в грязи. Первым делом он зашел в мастерскую, где мы сидели над своими станками.

— Теперь, — сказал он, — вы все будете работать на час больше. Каждый день.

Потом он собственными руками поставил решетку на окно в уборной и забрал у Карима ключи от мастерской.

— С тобой я потом разберусь, — погрозил ему Хуссейн.

Карим испугался до смерти.

А мы подумали: «У Икбала получилось. Наверное».

Хуссейн уезжал и назавтра, но еще до того, как муэдзин проголосил полуденную молитву, он вернулся, заперся в доме и больше не выходил.

Работая, я думала о Икбале: может, ему удалось добраться до дома и обнять родителей? Но тогда хозяин точно бы его нашел и вернул, пригрозив его родителям долговой тюрьмой. Может, он еще в городе, где-нибудь прячется? Но где спит, что ест?

«Он же такой молодец, — успокаивала я себя, — он справится».

Потом я вспоминала о его обещании: «Весной мы с тобой запустим воздушного змея».

Мне так хотелось, чтобы это было правдой, но я не собиралась себя обманывать. Я рассказывала о своих переживаниях и мыслях маленькой Марии, словно она могла понять меня и ответить или даже меня утешить:

— Ты знаешь, что такое воздушный змей, Мария? Ты когда-нибудь с ним играла?

Она ничего не отвечала, конечно.

— Он очень красивый. Ты бежишь, а змей поднимается в небо, все выше, иногда прямо до облаков, и подпрыгивает вместе с ветром. Но осторожно: ни за что не отпускай веревку. А то потеряешь его и уже не поймаешь. Со мной так один раз случилось. Я была тогда очень маленькая. Отпустила и расплакалась от обиды. Но на самом деле мне нравилось смотреть, как он поднимается все выше и выше, пока совсем не

исчезнет в небе. Я, помню, тогда подумала: «Кто знает, куда он полетел? Вот бы и мне с ним!»

В ту ночь я плохо спала, духи то и дело будили меня, хватая за ноги. Наутро третьего дня мы только запустили станки, как сосед Хуссейна прибежал во двор, отвел хозяина в сторону и принялся что-то ему говорить, размахивая руками. Выглядел он очень испуганным.

Хуссейн с хозяйкой зашли в мастерскую, приказали нам бросить все на местах и, подгоняя нас криками, вытолкали во двор. Там они распахнули ржавую дверь, ведущую в Склеп, и запихали нас на лестницу. Я оказалась зажатой посередине.

— Стойте здесь, — приказал Хуссейн, — и чтобы ни звука!

Кто-то стучал в ворота.

— Что происходит? — спросила я у тех, кто стояли спереди.

— Видно так себе, — ответили мне, — но хозяин, похоже, идет открывать… там какие-то люди… да это… полицейский! Целых два полицейских… и с ними Икбал!

Я протиснулась к верхней ступеньке, прижалась щекой к ржавой двери и сквозь щель увидела, что это правда: во дворе стояли два толстых полицейских с лоснящимися от пота лицами и огромными черными усищами. Форма у них была какая-то поношенная, заляпанная чем-то, животы чуть не вываливались наружу, но все равно это были полицейские. И с ними действительно был Икбал.

Хуссейн стоял с почтительным видом, слегка опустив голову. Рядом хозяйка теребила край фартука. Я увидела, как Икбал поднял руку и показал на мастерскую. Полицейские очень медленно, обходя лужи, прошли через двор, едва заглянули внутрь, потом пошептались и что-то спросили у Хуссейна. Он отвечал им быстро-быстро, по-прежнему с кротким видом, и то и дело обращался к жене, словно просил ее подтвердить, что он сказал.

— Ну, что происходит? — спросили сзади.

— Не пойму, я не слышу, о чем они говорят, — ответила я, — но по-моему, Икбал заявил на хозяина в полицию.

— Заявил в полицию?

— Значит, его посадят в тюрьму?

— Да тише вы!

Теперь Хуссейн воодушевился куда больше и принялся широко размахивать руками. Казалось, полицейские заскучали. Один из них бросил взгляд на свои старые часы. Тут Хуссейн взял Икбала за руку и притянул к себе. Тот упирался. Хуссейн грубовато потрепал его за волосы, что-то еще сказал полицейским, пихнул Икбала к хозяйке и жестом приказал

отвести его в дом.

— Нет, — закричал Икбал, — нет! — И потом сказал еще что-то, что я не расслышала, потому что его голос заглушил удар грома.

— Что происходит? — спрашивали сзади. — Что происходит, Фатима?

— Я не понимаю. Икбала вернули Хуссейну.

— Как же так, они его не арестовали?

Я видела, как Икбал кричал и вырывался из рук хозяйки, пока не исчез в глубине дома.

Начался ливень. Полицейские явно спешили. За моей спиной шумели голоса, но я их почти не слышала, настолько я не могла поверить в то, чему стала свидетелем.

Хуссейн засунул руку за пояс, достал оттуда толстую пачку банкнот, отсчитал стопку и сунул первому полицейскому. Потом отсчитал стопку поменьше и дал второму. Те с довольным видом кивнули, покрутили свои усы, засунули в карман деньги и удалились под дождем.

Все мы застыли в ужасе и молча стояли на темной лестнице. В хозяйском доме все кричал Икбал.

Это казалось дурным сном, который никак не кончался. Я все делала машинально, почти не замечая как: проснулась, сходила в уборную (мое окошко теперь было заперто навсегда, но у меня все равно не было никакого желания прыгать), завтрак, работа-работа-работа, до тех пор пока не приходило время ложиться спать. Потом я плакала, думая об Икбале, который опять сидел взаперти в подземелье, и проваливалась в глубокий сон. Ночью я вдруг просыпалась, но все было по-прежнему: дождь барабанил по жестяной крыше и просачивался через нее, я все еще была пленницей, Икбал все еще сидел в Склепе, и на этот раз мы не могли выбраться ночью из мастерской, чтобы хоть немного облегчить его страдания.

«Он умрет», — думала я.

Через несколько часов после визита полицейских Хуссейн-хан уехал в деловую поездку. Перед этим он дал указания Кариму — громко, чтобы мы все слышали:

— Смотри в оба! Когда вернусь, я проверю работу у каждого. И если что, спрашивать буду с тебя.

— Да, хозяин! Да, хозяин! — без конца повторял Карим.

— А что касается того, внизу…

— Да?

— Оставь его там.

— Да, хозяин!

Когда Хуссейн-хан уехал, Карим сходил с ума от страха и не давал нам ни секунды передышки, не позволял отвлекаться даже на мгновение.

— Вы хотите меня подвести, — повторял он, — но я вам не позволю. Работайте! Работайте!

Я потеряла счет времени. Сколько дней прошло: четыре? пять? шесть?

Икбал все еще был под землей.

«Он умрет, это точно».

Мы больше не разговаривали по ночам. Никому не хотелось, да и зачем? До появления Икбала я и не думала, что нашу жизнь как-то можно изменить, я даже не мечтала, что может быть иначе. А потом появился Икбал и разбудил надежду во всех нас. Но теперь разочарование было слишком сильным. Он больше ничего не сможет сделать, а мы все слишком трусливые, чтобы восстать против Хуссейна.

«Он умрет, — думала я, — а я останусь совсем-совсем одна».

Хуссейн-хан вернулся в пятницу, день, посвященный Аллаху, когда все отдыхают — кроме нас, конечно. Он переоделся, поздоровался с соседями, которые пришли его навестить и спросить, как прошла поездка, ненадолго заглянул в мастерскую, мрачно сообщил Кариму, что после обеда он зайдет проверить нашу работу, и отправился обедать.

Нас не отпустили даже на обычный перерыв.

— Работайте, работайте! — кричал вспотевший и перепуганный Карим. — А то хозяин мне задаст.

Я работала, стараясь не замечать голода. Из хозяйского дома доносился пряный запах тушеной баранины, от которого щекотало в носу. Я ела такую, два или три раза. Женщины в деревне готовили ее на какой-нибудь важный праздник, и не дай бог, если она получалась недостаточно острой, если от нее не горел язык и не щипало горло, — мужчинам это не нравилось. Очень, очень вкусная баранина.

«Работай давай!»

Скорее всего, на сладкое у них были пончики с творогом. Посыпанные тростниковым сахаром. И корицей.

«Работай!»

А у меня были только голод, усталость и отчаяние.

Хозяин появился на пороге, в зубах зубочистка. Мы перестали ткать и поднялись из-за станков. Хуссейн-хан потер поясницу, взял портняцкий метр и листок, на котором в прошлый раз отметил длину ковров до его отъезда, и стал их мерить, очень медленно. Он прикладывал к ковру метр, потом брал доску и решал: минус три черточки, минус четыре черточки, а может, ни

одной, потому что работа была плохая.

Никто не осмеливался спорить.

Хозяин не торопился с подсчетами, а Карим ходил за ним по пятам, как собака, выпрашивающая кость. Услышав приговор, каждый покорно опускал голову.

Салман: только одна черточка. Али: ни одной (тут малыш Али не смог сдержать слезы). Мухаммед: три (Мухаммед облегченно свистнул). Скоро подойдет моя очередь. Мария…

Хуссейн-хан остановился перед станком маленькой Марии, вытаращил глаза и злобно зыркнул на Карима, который ничего не понимал и даже поскуливал от страха.

— Что это такое?! — прорычал Хуссейн-хан.

— Я… я не знаю… хозяин… я… — бормотал Карим.

Мы все подошли ближе, и тут уж нас было не остановить. Марии всегда давали самую легкую работу — ковры с простейшими узорами, для которых не нужны были особые умения. Она была не очень ловкой и работала неважно, может, из-за глухоты или чего-то еще.

Хуссейн-хан утверждал, что держал ее из милости, но это было не так: она тоже выполняла свою часть работы.

Мы столпились вокруг станка Марии. В эти дни, воспользовавшись тем, что никто не обращал на нее внимания, и даже Карим вел себя так, словно ее на свете не было, она изменила свой ковер. Теперь вместо простого узора из желтых и красных полос на нем, в самой середине, красовался рисунок.

Это был воздушный змей. Большой, белый, с двумя длинными шнурами на хвосте, которые словно развевались на ветру. Вниз от него спускалась тонкая нить, а вокруг были хлопья голубого — небо. Он был прекрасен.

Рядом с этим своим рисунком Мария казалась еще меньше, чем она была, такая худенькая и незащищенная. Хуссейн-хан стоял разинув рот. Он попытался сказать что-то, но у него не вышло. Он посмотрел на Карима. Потом на всех нас. Потом на дверь, словно ища поддержки от хозяйки.

«Сейчас лопнет от злости», — подумала я.

Наконец он прохрипел:

— В Склеп! И эту в Склеп!

Мы инстинктивно придвинулись к Марии. Она была слишком слабой и хрупкой и не выдержала бы и дня в Склепе, и Хуссейн это прекрасно знал.

— В Склеп! — повторил он, но уже не так уверенно.

«Сделайте что-нибудь! — крикнула я про себя. — Ради бога, кто-нибудь, сделайте что-нибудь!»

Хуссейн протянул лапищу к Марии.

Краем глаза я увидела, как Салман, расталкивая локтями остальных, пробирается к нему.

— Если ты посадишь ее в Склеп, — сказал он, стараясь не дрожать голосом, — тогда и меня посади.

— Что? Что ты сказал?

— Я сказал: накажи и меня.

Несмотря на прыщавое лицо и руки, шершавые, как наждачная бумага, Салман в тот миг казался очень красивым.

— Была не была, — сказал Мухаммед и сразу начал заикаться от волнения, — тогда п… п… п…

— Ну, давай же, — подбадривали его сзади.

— П… посади и меня, — с трудом закончил он.

Потом с довольным видом огляделся по сторонам, словно сказал настоящую речь, почесал в затылке и попытался смачно сплюнуть, как вечно делал Карим (правда, плевок у него не получился).

Секунду спустя все мы тянули вверх руки и кричали:

— И меня посади! И меня!

Кричал даже малыш Али, прятавшийся, как всегда, за моей юбкой.

Хуссейн-хан побледнел. Он крутил головой по сторонам, не зная, что ему предпринять. Попытался перекричать нас, но у него не вышло. Было ясно, что он в ярости и ненавидит нас так, что поубивал бы всех. Но даже он понимал, что это невозможно.

И в конце концов он сбежал. Мы не могли поверить своим глазам: Хуссейн-хан убрался восвояси, бормоча проклятия, под наши крики и улюлюканье. Карим улизнул вместе с ним.

Час спустя Икбала выпустили, и он снова был с нами, после шести дней Склепа. Измученный, бледнющий, жутко голодный, но живой.

# 10

— Я добрался до города на рассвете, — рассказал Икбал. — Небо было все в тучах, шел дождь, все в огромных лужах. Я совсем не знал, куда идти, и побрел наугад. Там, в городе, есть кварталы с одинаковыми высоченными домами, а есть совсем другие, в них дома очень старые, стоят друг на дружке — кажется, еще немного и развалятся. На улице не было почти ни души — еще бы, в такую рань. Я наткнулся на большую широкую дорогу, которая вела из города, и подумал: «Может, если пойду по ней, попаду к себе в деревню?» Я мог бы спрятаться в каком-нибудь грузовике или автобусе. Но потом я подумал, что Хуссейн-хан наверняка поедет в дом моих родителей и будет требовать меня обратно. Мама, конечно, не согласилась бы, но отец — честный человек, он уважает закон, а по закону ему нужно выплатить долг, так что он не сможет отказать. И я отправился искать рыночную площадь. Вы даже не представляете, какая она огромная! Там сотни прилавков, деревянных ящиков и циновок, на которых раскладывают товар, и торговцы были уже за работой, несмотря на дождь. Вы бы видели эти горы фруктов, грузовики овощей, которые привозят из деревни, корзины с разноцветными специями, прилавки мясников с полосками липкой бумаги — ловушками для мух. А есть те, что просто раскладывают товар на земле и продают все что попало, разное старье и даже кривые и ржавые гвозди.

— Да ладно!

— Точно тебе говорю. Не знаю, кто их покупает. А еще есть прилавки, похожие на самые настоящие магазины, и там продают магнитофоны и кассеты, чтобы слушать музыку.

— Знаю такие, — заметил Карим с важным видом.

— И другие кассеты, на которых, говорят, кино.

— Таких не знаю, — признался Карим.

— Я бродил по базару несколько часов. Народу становилось все больше. Я думал, если смешаться с толпой, Хуссейн-хану будет сложнее меня обнаружить. Да, еще там были представления. Я видел жонглера. И заклинателя змей!

— Заклинателей змей не бывает.

— Нет, бывают!

— И что, змея танцевала под музыку?

— Не совсем. Но она вылезла из корзины, такая большая, с широкой мордой и злыми глазами, а он взял ее прямо руками.

— Голыми руками?

— Именно! А еще повсюду продавали еду: огромные

сковородки с самсой и шами кебабом, знаете, такие пирожки с бараниной и чечевицей. Еще кастрюли с рисом басмати и курицей тандури. Мясной шашлык и овощи на гриле. Они так вкусно пахли! А я был очень голодный.

— И что ты сделал?

— Заработал. Знаете, там полно наших.

— Кого «наших»?

— Детей, которые работают. Они разгружают грузовики и таскают ящики, причем такие тяжелые, что руки отваливаются. Подходишь к продавцу и говоришь: «Найдется для меня работа?» А он тебе: «Перенеси вон тот мешок и получишь рупию». Я так и сделал. Но остальные дети не хотели, чтобы я там работал. Они подошли ко мне и сказали: «Уходи отсюда! Ты кто такой? Откуда? Это наше место. И работа наша». Я испугался, что они станут слишком шуметь — Хуссейн-хан наверняка уже рыскал где-то поблизости. Поэтому я ответил: «Оставьте меня в покое». И пошел искать работу на другой конец рынка. В конце концов я нашел какого-то мясника, который поручил мне разгрузить целый грузовик баранины. Он накинул мне на голову и плечи мешок, чтобы я не перепачкался кровью, и это было очень кстати, потому что под мешком Хуссейн-хан точно бы меня не заметил. Мне даже один раз показалось, что он промелькнул в толпе.

— Но что ты потом собирался делать?

— Я понятия не имел. Думал затеряться на рынке, а через пару дней что-нибудь придумать. Я проработал почти до самого вечера. Потом поел на рупию мясника. Дождь к тому времени уже кончился, и проглянуло солнце. Я присел у стены передохнуть, и тут ко мне подошли еще два парня, постарше. Они курили сигареты и разговаривали как-то странно. «Новенький? Откуда?» — спросили они. «Из соседней деревни», — соврал я. «Работу ищешь? Если шустрый, у нас для тебя найдется дело».

— И что они тебе предложили?

— Я толком не понял. Но я увидел, что у них был нож, и отказался. Они продолжали настаивать. Тогда я решил переменить тему и спросил: «Не знаете, где тут можно поспать?» Они принялись хохотать: «Да где хочешь! Спи прямо здесь, по ночам тут любой прилавок сойдет за номер в гостинице. Но только смотри поосторожней, желторотый». — «Почему?» — не понял я. «Осторожнее, и все тут». Надо сказать, у них получилось меня запугать. Мне было очень одиноко, я совсем не знал, куда идти и что делать. Мне ужасно не хватало вас. «Какой же я дурак, что сбежал», — все думал я. Вечерело, рынок пустел. Мне стало совсем грустно, и очень хотелось домой. Ведь я сбежал в надежде, что кто-то поможет мне и всем вам, но оказался совершенно

один.

— И что же ты тогда сделал?

— Мимо проезжал большой разноцветный автобус с кучей огоньков и пищалок. Помнишь, Фатима, я говорил тебе, как бы мне хотелось прокатиться на таком?

— Помню.

— Ну вот, я сел на него и стал кататься по городу, пока не попался контролеру. Он отругал меня и выгнал. Я пересел на другой автобус, потом еще на один. Последний высадил меня в районе, в котором я еще не был. К этому времени уже совсем стемнело, и я снова почувствовал голод. Потом набрел на какую-то подворотню и уснул, свернувшись клубком, чтобы не продул ветер. Наутро дворник прогнал меня и чуть не поколотил. Я снова отправился на рынок, разгрузил два ящика арбузов, без конца оглядываясь по сторонам, чтобы не встретиться ненароком с Хуссейн-ханом. «Останусь здесь на пару дней, — думал я, — может, хозяину надоест меня искать, и я смогу вернуться домой». Но я не был в этом уверен и боялся, что мне придется остаться жить там навсегда, стать бродягой. А потом в середине дня приехали те люди.

— Какие люди?

— Их была целая группа, и даже несколько женщин. Они собрали что-то вроде сцены, а за ней повесили большой плакат и много маленьких. Я, конечно, не знаю, что там было написано… Вокруг сразу собралась большая толпа. Полицейские тоже подошли и окружили сцену. «Наверное, хотят им помочь», — подумал я. На помост поднялся мужчина, он мне с первого взгляда понравился, не знаю почему. «Это точно хороший человек, — подумал я, — у него такая красивая и аккуратная борода и чистая белая рубашка». Он начал говорить в микрофон.

— И что он сказал?

— Он сказал… Я прекрасно запомнил его слова, потому что таких слов я никогда не слышал. Он сказал: «Мы — Фронт освобождения детей от рабского труда».

— А что это такое?

— Не знаю. Но он сказал, что это стыд и варварство, что детей заставляют работать, как рабов, у ткацких станков или у кирпичных печей. Он сказал, что хозяева детей жадные и в них нет ни капли жалости.

— Так и сказал, ты уверен?

— Уверен. И еще сказал, что теперь в Пакистане есть закон, по которому те, кто использует детский труд, должны сесть в тюрьму.

— Правильно! Так и надо!

— Да. Но большинство слушателей на рынке думали по-другому. Торговцы ругались и кидались овощами, чтобы он замолчал. Они кричали: «Убирайся! Шут! Предатель!» Но он говорил еще громче и не давал себя запугать. Торговцы коврами пришли в ярость. Казалось, еще немного и они разнесут сцену в щепки. «Врешь! Ты все врешь!» — вопили они. А я подумал: «Вот человек, который нам поможет» — и попытался протиснуться к сцене, чтобы с ним поговорить, но попал в сильную давку. К тому же сцена была окружена полицией. И тогда я подумал: «Расскажу-ка я обо всем полицейскому. Ведь полиция здесь, чтобы помогать и защищать закон.

А тот человек сказал, что есть специальный закон про детей». И я обратился к полицейскому, который стоял ко мне ближе всех. «Этот человек говорит правду, — сказал я ему, — меня и моих друзей держит в рабстве торговец коврами». — «А почему тогда ты здесь?» — спросил он. «Я сбежал», — ответил я. «А как зовут твоего хозяина?» — «Хуссейн-хан». Он огляделся по сторонам и сказал: «Пойдем со мной». — «Куда?» — «Не бойся. К нам в участок. Мы дадим тебе поесть. А завтра утром навестим этого Хуссейна». — «Вы посадите его в тюрьму?» — спросил я. «Мы разберемся, что делать». В участке со мной обращались хорошо. Дали миску риса. Дали выспаться на койке в одной из камер. Но я не был арестантом: если бы захотел, мог спокойно уйти. Так они мне сказали. Ну, а что произошло на следующее утро, вы сами знаете. Хуссейн сказал им, что мы работники, что всем нам аккуратно платят, что никаких цепей нет. И они ему поверили.

— Они ему не поверили, — сказала я, — они взяли у него деньги. Я своими глазами видела.

Мы печально переглянулись, склонившись над койкой Икбала. Он был еще совсем слабый и бледный, и казалось, даже слова даются ему с трудом.

— Но если мы и полиции не можем доверять, — озвучила я общую мысль, — кто же тогда сможет нам помочь?

— Люди из Фронта освобождения, — ответил Икбал, — они нам помогут.

— А как мы их найдем?

Икбал хитро улыбнулся, сунул руку в карман брюк и вытащил оттуда листок бумаги.

— Что это? — спросили мы хором.

— Это раздавали люди из Фронта. Тут наверняка написано, как их найти.

Листок прошел по всем рукам. Мы смотрели на него с недоумением.

— Да, брат, — сказал наконец Салман, — ты, наверное, прав.

Но ты забыл одну вещь: никто из нас не умеет читать.

Повисло долгое молчание.

А потом раздался голос у нас за спиной, — голос, который мы никогда раньше не слышали, странный, словно заржавевший:

— Неправда. Я умею читать.

Мы все обернулись и, разинув рты, посмотрели на Марию.

# 11

Наконец наступила Весна воздушного змея. Сколько уже лет прошло, а я называю ее только так. До сих пор помню: сперва подул горный ветер, холодный и чистый, потом он нагрелся под солнечными лучами и разогнал тучи, дым и городскую пыль, потом победил дождь и сырость, которые за зиму успели проникнуть повсюду, и, наконец, заставил нас улыбнуться.

Сквозь редкие булыжники во дворе пробивались странные цветы и травы, и, когда мы выходили на улицу во время перерыва, вокруг стоял дурманящий запах весны. Снова объявились два бродячих кота, которые где-то пропадали всю зиму. Мухаммед лежал, растянувшись на солнышке, и что-то бормотал от удовольствия. Карим валялся неподалеку и ворчал, что ему достанется от хозяина. Щепка еще больше вытянулся и похудел, если это вообще было возможно. К тому же рука его прошла и ему приходилось теперь работать по полной. Али вырос за зиму, как лесной гриб, — теперь он уже не был «малышом Али», но никто пока не мог к этому привыкнуть.

Икбал снова сбежал, и на этот раз мы были уверены, что у него все получится.

Мы готовились всю зиму. Каждую ночь при слабом свете свечных огрызков, которые Карим и Щепка, по прозвищу Метла, воровали из хозяйского дома, Мария собирала нас в круг и учила читать. Она была строгой: даже законченным болванам, вроде Салмана, и бездельникам, типа Карима, не удавалось отвертеться. Доской нам служил квадратик глиняного пола, который мы расчищали ладонями, а карандашом — заточенная палочка, которой Мария чертила буквы алфавита, а мы должны были повторять их хором, словно кучка слабоумных.

— Ничего не понимаю, — ныл Карим, который путался уже после трех букв, — я никогда не научусь!

— Тихо ты! — шипела на него Мария и заставляла его повторять все сначала.

Она учила нас читать, а мы заново учили ее говорить.

Мария была дочерью школьного учителя из провинции города Файзалабад. Отец ее рано овдовел, и она с младенчества вместо игрушек возилась со старыми книгами с картинками, которые пахли пылью, и казалось, вот-вот рассыплются. Так она и научилась читать. Отец был бедным, почти как крестьяне, которые иногда, нехотя, отдавали ему в школу детей, чтобы те обучались грамоте. Крестьяне платили ему тоже нехотя, обычно

чем-нибудь со своего огорода.

— Ваши дети не должны оставаться неграмотными, — все время повторял им учитель, — иначе они будут нищими и попадут в рабство, как вы. Вы этого для них хотите?

— Нет, учитель, — отвечали крестьяне, в знак уважения снимая шляпу.

Они действительно уважали учителя и искренне ему верили. Но времена были непростыми, и дети нужны были дома, чтобы помогать в поле или работать в доме у хозяина. На школу времени не было.

— Тебе надо учить детей богачей, — советовали учителю, — школа для них.

Но отец Марии не хотел идти к богачам. Пока ему не пришлось обратиться к деревенскому ростовщику, сперва один раз, потом еще. Он вернулся домой с сильной болью в груди и не проронил ни слова. На следующее утро двое мужчин пришли забрать Марию. Ее отец все так же лежал на своей подстилке, даже головы не поднял. С тех пор Мария больше не разговаривала.

— Но как тебя зовут на самом деле? — первым делом спросили мы ее.

— Меня зовут Мария, — ответила она, с трудом подбирая слова, — потому что вы меня так назвали. Моя семья — это вы.

Прошел почти год с появления Икбала, и между нами и впрямь что-то поменялось: раньше мы были просто детьми, которым досталась одна и та же участь, и каждый старался выжить, как мог. Теперь же мы сплотились, мы стали друзьями и даже чем-то большим.

Вместе нам удалось в одну из ночей расшифровать ту самую листовку, которую принес Икбал. Словно по волшебству все эти значки — криво, словно курица лапой, начерченные на песке, — обрели конкретный смысл. Мы увидели, как на бумаге появляется сообщение. Само — клянусь, мы были тут ни при чем. Оно вдруг возникло, и все тут.

Я помню, что сердце у меня застучало как бешеное. Я не могла поверить! Вот что значит уметь читать: ты смотришь на безжизненную вещь, и она вдруг становится живой, как человек, и говорит с тобой.

Мы закричали: «Ура!» — и тут же побежали каждый на свою подстилку, потому что, естественно, разбудили хозяйку.

Мы столько раз повторяли это вслух, что я даже сейчас помню, что там было написано. Всего несколько строк:

***ХВАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКИЙ ТРУД!!!***

В Пакистане более 7 000 000 детей живут как самые настоящие рабы. Они вынуждены работать на алчных и безжалостных хозяев — в полях, на кирпичных заводах, на ковровых фабриках. Их приковывают цепями, бьют, над ними издеваются. Они работают от рассвета до заката, получая за свою работу одну рупию в день, в то время как их хозяева богатеют. Полиция обо всем знает, но не вмешивается, потому что она подкуплена! Но теперь и в нашей стране действует закон, который обязывает закрывать подпольные фабрики и арестовывать их владельцев. Заставим же всех уважать его! Положим конец этому позору! Наши дети имеют право на детство!

Конечно, там был еще адрес. Теперь проблема была в том, чтобы туда добраться. Мы придумали план.

Драка началась внезапно, во время обеденного перерыва, когда мы грелись на солнышке во дворе. Кто-то говорил, что это Мухаммед, который становился все более неловким, наткнулся на Салмана и опрокинул на него миску с чечевичной похлебкой. А кто-то утверждал, что начал Салман, который любил позадираться и подшутить над огромными ступнями Мухаммеда, а тот в долгу не остался.

Через секунду они уже лупили друг друга, и прежде, чем Карим успел сказать: «Эй!» — потасовка стала общей. Кто-то защищал Салмана, кто-то — Мухаммеда, кто-то никого не защищал, а просто хотел поразмять руки. Кто-то, может, и хотел бы остаться в стороне, да не смог. Мы, девчонки, тоже участвовали: носились туда-сюда по двору, кричали как гусыни и поднимали облака пыли и куриных перьев.

Хозяйка бросила кастрюлю — чечевица разлетелась во все стороны — и побежала в дом, чтобы позвать мужа. Хуссейн-хан возник на пороге в майке и с жирными усами — видимо, он недавно проснулся и теперь завтракал.

— Стоять! Всем стоять! — завопил он.

Понадобилось добрых десять минут, чтобы всех успокоить. Потом еще столько же на головомойку всем нам, с привычными угрозами и неизбежным приговором — сутки в Склепе — двум зачинщикам драки. Потом нам пришлось убирать двор, который весь был залит похлебкой.

Хуссейну в конце концов удалось затащить двоих драчунов,

продолжавших осыпать друг друга оскорблениями, вниз в Склеп, запереть их там и вернуться к трапезе. Карим усердно выстроил нас в ряд, как солдат, и проводил в мастерскую. Там он приказал нам быстро приниматься за работу, проверил, чтобы все было в порядке, подумал, почесал в затылке, два-три раза сплюнул, и еще пара минут ему понадобилась, чтобы понять, что не так. Он не торопясь пересек двор, поправил штаны, постучал в хозяйскую дверь и сообщил Хуссейн-хану, что не хватает одного работника.

И действительно, воспользовавшись суматохой, Икбал перелез через ограду в глубине двора, прошел знакомыми огородами и во второй раз был таков. Преимущество у него было незначительное, это правда, но теперь его было не поймать.

# 12

Эшан-хан был точно таким, каким его описывал Икбал: высокий и сухощавый, он производил впечатление человека сильного и решительного. У него были черные красивые волосы и борода, а его одежда всегда была безупречно белого цвета. Много лет назад он решил посвятить свою жизнь освобождению детей из рабства. Ему угрожали, его избивали и сажали в тюрьму. И каждый раз он начинал все заново, с еще большим упрямством и энтузиазмом.

Упрямства ему действительно было не занимать. А главное — несокрушимой веры в свои идеи и в свое предназначение. Мы никогда не встречали взрослых, похожих на него: наши родители давно устали и со всем смирились, к тому же они жили той же жизнью, что и их отцы и отцы их отцов, и считали, что так будет всегда и сделать ничего нельзя.

Урожай заберет хозяин, буйвола — болезнь, а ростовщики заберут их жизни и жизни их детей.

«Так было всегда», — говорили они.

Я тоже до встречи с Эшан-ханом думала так и верила, что быть прикованным к ткацкому станку и днями напролет переплетать нити — это часть естественного порядка вещей или, во всяком случае, та неприятная сторона жизни, которой нельзя избежать. Эшан-хан открыл мне глаза, и, пусть я и не понимала всего, что он говорил нам, — слишком маленькой и глупой я была тогда, — многое я помню до сих пор. Эшан-хан стал для некоторых из нас вторым отцом, хоть он никогда и не пытался забрать нас из семей. Ближе всего к нему был Икбал. Думаю, это было неизбежно: Икбал был таким же, как он, — упрямым, бесстрашным и уверенным в том, что мир можно изменить.

Когда Эшан-хан вместе с еще двумя людьми из Фронта освобождения пришел в дом Хуссейна, мы сразу поняли, что ничто его не остановит. Он привел с собой полицейского, такого же толстого, что и те, прежние, но только у этого форма была в порядке и на рукавах красовались какие-то значки.

— Это офицер, — объяснил кто-то.

Еще с ними был худой угрюмый мужчина, который оказался судьей. И, конечно, Икбал. Глаза у него сияли, он даже подпрыгивал от нетерпения и делал нам разные жесты руками.

— У него получилось, — закричали мы, — на этот раз получилось!

Хуссейн угрожал, спорил, умолял, заламывал свои жирные руки, а из-за пояса у него как бы случайно торчала пачка банкнот.

Ничего не помогало.

Икбал провел их в мастерскую.

— Посмотрите на этих детей, — сказал Эшан-хан судье, — посмотрите, какие они худые. Посмотрите на их руки, они все в порезах и мозолях. И на цепи на ногах.

Потом они прошли через двор, спустились вниз в Склеп и вскоре появились снова, ведя под руки Салмана и Мухаммеда, которые, хоть и шатались, жмурясь от света, все равно умудрялись дурачиться. Полицейский увел Хуссейна, а хозяйка заперлась в доме и принялась рыдать. С нас сняли цепи, потом распахнули двери и сказали:

— Вы свободны, можете идти.

Мы вышли неуверенными шагами и тут же сбились в кучку. Вместе высунули нос за ворота на улицу. Посмотрели в одну сторону, потом в другую. Вокруг собралась небольшая толпа любопытных, на нас показывали пальцем, что-то кричали. Растерявшись, мы вернулись обратно.

— Мы не знаем, куда идти.

Я хорошо помню, что чувствовала в тот момент: растерянность и смущение. Я вспоминала ночные разговоры с Икбалом и другими ребятами. Вспоминала, как мы говорили: «Когда мы станем свободными» — и какие мы строили планы, и вот теперь, когда наступил наконец этот момент, мне стало так страшно.

Икбал подошел к нам и обнял каждого.

— Давай возьмем их с собой в город, — сказал он Эшан-хану.

Нас рассадили по двум автомобилям. Когда мы отъезжали, я посмотрела в заднее стекло и увидела дом Хуссейна, мастерскую, двор с колодцем, которые медленно уменьшались в дорожной пыли. Там я провела последние несколько лет, и мне даже стало казаться, что другого дома у меня никогда не было.

Я стала искать глазами Икбала, а он сидел совсем рядом.

— Как ты думаешь, мы увидим еще этот дом?

— Никогда, — уверенно ответил он.

Ковровая фабрика Хуссейна исчезла за поворотом. Единственное, о чем я могла вспоминать с теплотой, было окошко в уборной, так долго дарившее мне надежду.

Штаб Фронта освобождения детей от рабского труда располагался в старинном здании колониального периода с облупленными розовыми стенами и маленьким садом за высокой оградой. Этот сад выходил на узкую оживленную улицу прямо за рынком. Двухэтажное здание совсем обветшало, а внутри царил беспорядок, но оно сразу показалось мне очень красивым и

удобным: от него веяло теплом и защищенностью.

На первом этаже была огромная комната, загроможденная столами, хромыми стульями, пачками газет, валяющимися повсюду книгами и листовками, плакатами и растяжками. Еще там было три дворняги, два вентилятора, которые почти впустую разгоняли жаркий воздух; телефоны беспрерывно звонили, люди кричали и суетились, а завидев нас, разом замолчали и принялись хлопать в ладоши.

Мы прошли мимо них, потупив глаза. От смущения нам хотелось провалиться сквозь землю.

— Здесь располагается Фронт освобождения, — объяснил нам Икбал, — и здесь все друзья. Вы не должны бояться.

— Но почему они хлопают?

— Они аплодируют вам.

— Нам?!

На втором этаже, наоборот, было много комнат, а из огромной кухни доносились умопомрачительные запахи. В уборной, размером с площадь и безупречно чистой, зачем-то стояла огромная ванна. Какие-то женщины, увидев нас, кинулись нас обнимать, повторяя:

— Посмотри на этих бедняжек…

— Боже, какие худенькие…

— А руки, руки-то…

— А следы на щиколотках… Смотри, какие раны…

— Сколько у них вшей…

И вот тут-то мы и поняли, для чего нужна ванна: ее наполнили горячей водой и, несмотря на наши протесты, стали хватать одного за другим, погружать в нее с головой и как следует отмывать, оттирать и отчищать. Потом нам выдали чистую одежду, накормили досыта и уложили в постели в комнатах по соседству.

Наступил вечер, и я впервые в жизни лежала сытая и чистая на удобной постели. Снизу, с улицы, где жизнь, казалось, никогда не останавливается, до меня доносились сотни разных звуков: шум моторов, гудки проезжающих машин, ослиный рев, чьи-то крики и смех, вой сирены, другие загадочные звуки, а вдалеке — чуть слышный зов муэдзина.

«Ни за что не усну», — подумала я.

И тут же провалилась в сон.

На следующее утро я по привычке проснулась на рассвете и стала оглядываться по сторонам, не понимая, где я нахожусь. Сначала подумала: «Скорей к станку. Я опоздала, хозяин меня накажет». Я вскочила и второпях оделась. Потом выбежала в

коридор. В огромном доме было пусто и тихо. Я заглянула на нижний этаж: ни станков, ни хозяина, никакой работы.

И тогда я села на лестнице и заплакала. Не знаю почему. Я ни разу не плакала за все эти годы. Не плакала, когда мне было одиноко, когда я была рабыней в мастерской Хуссейна; не плакала, когда в конце рабочего дня руки у меня покрывались кровоподтеками, и даже когда боялась, что Икбал умрет под землей, в Склепе. Но в тот момент я не смогла сдержать рыданий. Одна из женщин, с которыми мы познакомились накануне, вышла из кухни и, присев рядом, обняла меня.

— Не бойся, малышка, — прошептала она мне на ухо, — все позади.

Но я плакала не от страха. Это было что-то другое.

Понемногу проснулись все остальные. Судя по растерянным лицам, им тоже было не по себе. Мы позавтракали и разбрелись кто куда, не зная, чем заняться.

Та самая женщина — которая, как мы потом узнали, была женой Эшан-хана — предложила:

— А вы поиграйте!

Мы кое-как поделились на группы. Было так непривычно, ведь мы не играли уже много лет и забыли, как это делается. Появился Эшан-хан, он улыбался и был одет, как всегда, в белое. Он собрал нас в круг и попросил каждого сказать, как называется его деревня, — Фронт освобождения позаботится о том, чтобы найти наши семьи и вернуть нас домой.

— Вы снова обнимете родителей!

Большинство стали радостно выкрикивать странные и неизвестные мне названия своих родных мест. Но некоторые молчали.

Карим, большой и неуклюжий, бормотал:

— У меня-то нет семьи, куда я пойду?

Малышка Мария обняла меня, прошептала мне на ухо своим все еще неуверенным голосом:

— Я боюсь, что мой папа умер. У меня есть только вы. Ты куда пойдешь, Фатима?

И правда, мне-то что делать? У меня были только размытые воспоминания о моей матери и совсем нечеткие — о братьях. Я уже не помнила их имен. Не была уверена, из какой я деревни. В ней было всего четыре дома, затерянные где-то в полях. Иногда мне даже казалось, что на самом деле их и вовсе нет.

Ко мне подошел Икбал.

— Ты уедешь? — спросила я его.

Я вспомнила, с какой одержимостью он старался держать в уме даже самые мельчайшие детали свой жизни дома. Икбал

смотрел куда-то в сторону, словно избегал смотреть прямо на меня.

— Да, — тихо сказал он, — думаю, да.

— Тебе наверняка хочется снова обнять их.

— Конечно…

— И ты не рад?

Икбал помолчал немного.

— Не знаю, — сказал он наконец.

Мне было непонятно.

— Понимаешь, — словно раздумывая, начал объяснять он, — мне, конечно, хочется снова увидеть мою семью спустя столько времени.

Хочется увидеть маму и папу. Но я не хочу жить их жизнью.

— Боишься, что они снова тебя продадут?

— Не в этом дело, — сказал он, — мой отец, как и твой, продал меня не потому, что он плохой. Для них это было большим горем, но они просто не могли иначе. Нет, дело совсем не в этом. Дело в том, что я хочу заниматься другим.

— Чем?

Икбал поискал глазами Эшан-хана.

— Пока не знаю.

Мы еще немного помолчали. Потом Икбал взял за руку меня и Марию.

— Пойдем! — громко сказал он.

— Куда?

— На улицу, мы не должны сидеть здесь и грустить.

— На улицу? — спросили мы. — А разве можно?

— Конечно, можно. Мы свободны!

— А что ты хочешь делать? — спросили мы хором.

Он принял загадочный вид:

— Эшан-хан подарил мне кое-что. А я кое-что тебе обещал.

Снаружи все было новым, странным и шумным. Мы без конца глазели по сторонам. Светило солнце, дул ветер и отовсюду доносились разнообразные запахи. Мы вскарабкались на холм над городом: за спиной у нас остались последние дома, а впереди — только камни, трава и полуденный зной. Город внизу качался в дымке, но там, куда забрались мы, воздух был ясным и чистым.

— Не смотрите! — приказал Икбал.

Мы прикрыли глаза руками, но я заметила, что Мария подглядывала сквозь пальцы, и тогда я тоже не удержалась и подглядела. Икбал достал из-за пазухи какой-то сверток, развернул на траве что-то белое и цветное, размотал клубок нитки и побежал все дальше и дальше, и, когда он наконец

крикнул нам: «Теперь можно!» — воздушный змей был уже высоко в небе и подпрыгивал на ветру.

Мы подняли его до облаков и даже выше. Мы бегали несколько часов кряду, передавая друг другу нить, пока порыв ветра не оборвал ее, — и наш воздушный змей исчез в яркой голубизне неба и устремился прямо к солнцу.

Нам было жарко, мы никак не могли отдышаться.

— Смастерим еще один, — пообещали мы друг другу.

Спускаясь по склону, Икбал сказал нам:

— Я решил. Я останусь с Эшан-ханом, а вы останетесь со мной.

# 13

Так начался год, который мы провели с Эшан-ханом и активистами Фронта освобождения.

— Я хочу остаться с вами, — сообщил Икбал тем же вечером, после ужина, в большом зале на нижнем этаже, где собрались мужчины и женщины Комитета управления, — и помочь вам освободить всех детей, которых держат в рабстве в Пакистане.

Эшан-хан посмотрел на него и улыбнулся:

— Это невозможно, Икбал. Ты повел себя очень смело, когда сбежал и помог нам освободить твоих друзей. Но ты не можешь остаться с нами: ты принадлежишь своей семье. Что скажут твои мама и папа, если мы не вернем тебя домой?

— Зачем мне возвращаться к своим, — возразил Икбал, — если через год или даже раньше я снова могу попасть в рабство? Или Мария, или Фатима? Или кто-то другой из наших ребят… А сколько их еще — таких детей, как мы?

— Мы точно этого не знаем. Много. Только здесь, в Лахоре, сотни подпольных ткацких фабрик, а еще кирпичные заводы, а выше, в горах, — шахты. И есть еще сельскохозяйственное рабство… десятки тысяч детей, сотни тысяч, наверное…

— Вы хотите их освободить, — сказал Икбал, — и я хочу.

Мы с Марией следили за этим спором с раскрытыми ртами: мы никогда бы не осмелились говорить так, на равных, со взрослыми. Но Икбал в тот момент тоже казался взрослым.

— Подумай, Эшан, — вмешался другой мужчина из Фронта, — паренек смышленый, он мог бы нам помочь. Ты сам знаешь, как тяжело убеждать судей вмешаться. Икбал мог бы тайком проникать на ткацкие фабрики, разговаривать с детьми, которые доверятся ему, и доставать необходимые доказательства. Без него мы никогда не прижали бы Хуссейна.

Но Эшан-хан продолжал отрицательно мотать головой:

— Нет. К тому же ему пришлось бы стольному учиться…

— Я научусь, — пообещал Икбал, — я уже научился читать и писать. Ну, по крайней мере, немного.

— И потом, это слишком опасно. Ковровые фабриканты очень могущественные, как и хозяева кирпичных заводов. А у ростовщиков сколько власти! Полиция изо всех сил старается их защищать, вы сами видели, а судьи притворяются, что ничего не видят. Всем нам здесь угрожали. Нет, я не могу этого позволить.

Икбал встал со стула, во весь свой рост, которого было совсем немного. Но тогда он показался всем очень высоким, казалось, головой он достает до потолка. И улыбнулся своей характерной

улыбкой:

— Я не боюсь, — сказал он, — я никого не боюсь.

И ему поверили.

Эшан-хан отвез его к семье, а спустя десять дней вернулся за ним. Икбал провел остаток того дня заперевшись в комнате. К вечеру он вышел и рассказал нам:

— Моя мать плакала, а отец дрожал от страха. Но сейчас они понимают и одобряют мой выбор. Я обещал навещать их так часто, как смогу. Знаешь, Фатима, — добавил он потом, — я хочу учиться, я хочу стать известным адвокатом и освободить всех детей Пакистана.

— Молодец, Икбал! — крикнула Мария.

Я тоже сказала: «Молодец», но голос у меня дрогнул.

Икбал и вправду учился: он участвовал во всех собраниях Фронта, сидел посреди взрослых и, сморщив лоб, внимательно слушал. Я тоже несколько раз ходила на эти собрания, но не могла уследить за всеми мыслями и сложными вещами, которые они говорили. Икбал же читал книги — по ночам, при зажженной свече. Научился работать с фотоаппаратом. И использовал любую возможность, чтобы поговорить с Эшан-ханом. Они могли говорить часами.

Эти двое были — два сапога пара, точно говорю.

Остальные ребята один за другим постепенно возвращались домой. Уехал Мухаммед — отправился к себе в горы, вывалив на нас, сильно заикаясь и стараясь скрыть волнение, целый шквал прощаний. Уехал Салман, неуклюже сжав меня в объятиях и сказав на прощанье Икбалу:

— Брат, мне понравилось, как мы расквитались с Хуссейном, и я бы с удовольствием остался, чтобы вам помогать, но я нужен моим старикам.

Уехал Щепка, который всегда умел нас рассмешить. И малыш Али, который, прощаясь, плакал без удержу. И другие тоже уехали.

Кроме нас троих, в старом доме с розовыми стенами остался только Карим, который в обмен на еду и ночлег был готов выполнять любую работу и которому приходилось, хоть и нехотя, слушаться Икбала.

Не прошло и месяца, как Икбал проник на одну из подпольных ковровых фабрик, спрятанную в подвале на северной окраине Лахора. Он обнаружил там детей — тридцать два ребенка, всех в порезах и таких худых, что лопатки чуть не протыкали им кожу. Он поговорил с ними, показал следы от шрамов на руках в доказательство своих слов, сфотографировал их цепи, станки, колодцы с водой, вырытые в земле. Три дня

спустя люди из Фронта пришли туда с полицией и судьей, арестовали владельца и освободили детей.

Всю ночь и следующий день мы с Марией помогали жене Эшан-хана и другим женщинам носить кастрюли с горячей водой и устраивать вновь прибывших.

Ради всего святого, какие они были грязные! Неужели и мы были недавно такими же?

В следующие месяцы Икбал помог закрыть еще одиннадцать фабрик, на которых использовался труд несовершеннолетних, освободив почти двести детей. Здание Фронта стало напоминать детский дом. Все рассказывали одну и ту же историю: маленькая деревня, пропавший урожай, заем у ростовщика, рабство.

— Всему причиной ростовщики, — говорил Икбал, — это с ними мы должны бороться.

Теперь он свободно говорил на собраниях, делился своим мнением, и остальные его слушали. Он был неутомим. Закончив одно задание, сразу принимался за другое.

— Мы должны всех их посадить в тюрьму, — говорил он, — всех!

Однажды ночью он не вернулся, и мы ужасно испугались, что с ним что-то случилось. Он пришел наутро с подбитым глазом и порезом на щеке.

— Я нашел еще одну фабрику, — рассказал он нам, — но меня схватили и сломали фотоаппарат. Нужно будет подождать несколько дней, а потом я туда вернусь.

Эшан-хан гордился Икбалом и обращался с ним как с сыном. Надо признаться, иногда я немного ревновала, хоть для этого и не было причины, потому что нас с Марией тоже считали за дочерей и у нас ни в чем не было нужды. Не знаю, может быть, я чувствовала, что у нас с Икбалом разные дороги и рано или поздно нам придется разлучиться. А еще в голове у меня все время сидела мысль о том, что, хоть я так мало помню, моя семья все же когда-нибудь найдется. Как мне поступить тогда?

К тому же начались проблемы.

— Нам нужно быть осторожными, — говорил Эшан-хан, — они так просто не сдадутся. Чем больше детей нам удастся освободить, чем больше эксплуататоров мы сдадим властям, тем сильнее они будут стараться заставить нас замолчать. Потому что они боятся нашего голоса. Они богатеют благодаря молчанию и всеобщему невежеству.

Как-то вечером я случайно услышала, как Эшан-хан говорил вполголоса своей жене:

— Я боюсь за Икбала. Теперь он на виду, и они знают, что именно благодаря ему нам удается побеждать. Ты ведь знаешь,

какой он горячий. Нужно быть осторожнее.

И действительно, с тех пор в зале на нижнем этаже по ночам всегда дежурили двое людей из Фронта. Однажды нас разбудили странные звуки: сначала какие-то удары и крики, а потом шум убегающих ног. Когда мы спросили, что случилось, нам ответили: «Ничего особенного», но это было не так. Атмосфера была странная: случалось, что на улице кто-то грозил нам кулаком и даже оскорблял. На тротуаре напротив здания Фронта часто часами стояли какие-то подозрительные типы, наблюдая, как мы входим и выходим.

Когда я думала о них — тех, кто хочет нам зла, — мне сразу приходил на ум Хуссейн, но я понимала, что они должны были быть чем-то большим, гораздо хуже Хуссейна, пусть я и не могла себе представить ничего хуже.

А потом был тот случай на рынке. Даже в таком большом и современном городе, как Лахор, настоящий центр городской жизни — это рынок: на нем в течение дня появляются почти все жители. В основном чтобы сделать покупки, но не только: еще и чтобы встретиться с друзьями, поболтать, на людей посмотреть. Активисты Фронта время от времени ходили на рынок, сооружали там небольшой помост из четырех досок, вешали длинное полотнище с надписью: НЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, поднимали плакаты с обвинительными лозунгами, раздавали листовки, как в тот раз, когда их увидел Икбал. Сотрудники Фронта выступали с помоста, используя что-то вроде трубы, которая называется мегафон, с ее помощью тебя могут услышать даже те, кто стоит далеко.

Вокруг всегда собиралась небольшая толпа: торговцы, особенно богатые, поднимали выступающих на смех, оскорбляли, провоцировали и доходили даже до того, что кидали в них разные предметы. На эти провокации все смотрели с безразличием, лишь некоторым хватало смелости робко проявлять несогласие, и в основном это были крестьяне, поденщики, словом, те, кто по опыту знал, что значит потерять сына или дочь таким образом. Обо всем этом мне рассказывал Икбал, потому что нам с Марией было запрещено участвовать в выступлениях. Это было слишком опасно, как нам говорили.

На этот раз слово взял Икбал. Он встал на шатающийся перевернутый ящик из-под фруктов, с трудом удерживая перед собой ту самую тяжелую трубу, что усиливает голос, и, превозмогая смущение и застенчивость, несмотря на крики, свист и шум голосов, рассказал о своей жизни. Он говорил о Хуссейне, о цепях, о плетении ковров и потом назвал конкретные имена. Он выкрикнул перед всеми имена, которые слышал на собраниях

Фронта, — имена ростовщиков, имена богачей, важных и загадочных, которые жили в роскошных домах в центре города, путешествовали и заключали сделки по всему миру. Это и были они, я думаю.

Он назвал их мясниками, эксплуататорами, стервятниками.

В толпе поднялось волнение. Небольшая группа людей попыталась забраться на трибуну, полетели толчки и оплеухи. Полиция нехотя вмешалась.

Их, конечно, не было на площади, они ведь на рынок не ходят. Но у них, очевидно, было много знакомых.

На следующее утро Эшан-хан вернулся с кипой газет: во всех газетах Лахора и даже в одной столичной были статьи о событиях предыдущего дня. В двух были и фотографии Икбала, сделанные во время его выступления, с этой смешной трубой перед лицом.

В одной из газет его представляли как «отважного мальчика, который осмелился выступить с обвинением против своих эксплуататоров», другие же говорили о «постыдной спекуляции с использованием неопытного ребенка».

Не знаю, что это означает.

Все мы подшучивали над Икбалом, говорили, что он скоро станет кинозвездой. А он краснел до ушей.

— Это ведь хорошо, правда? — спросил он у Эшан-хана. — Ведь ты говорил, что они становятся сильнее благодаря молчанию и невежеству. А теперь вон какой шум поднялся.

— Да, Икбал, — ответил ему Эшан-хан, — это нам очень поможет.

Но отвечал он как-то неуверенно и явно беспокоился.

Я хорошо помню то время: как Икбал тогда вырос! Я ждала, что у него вот-вот начнет пробиваться борода. Кто знает, какой он был бы смешной с бородой! Но и я тоже выросла.

Икбал был счастлив, смотрел на будущее с энтузиазмом, жаждал нового. Мы начинали привыкать к новой жизни, к жизни на свободе.

Мы выходили на улицу когда хотели. То есть почти: жена Эшан-хана старалась ходить с нами и следила, чтобы мы поздно не возвращались.

Как-то она дала нам две монеты, и мы отправились в кино. Там все было так, как в рассказах Карима. Показывали индийский фильм, который шел четыре часа, и я все четыре часа проплакала. Хотела посмотреть его второй раз, но Икбал развредничался и отказался. Еще мы узнали, что такое телевидение. Послушали ту самую странную музыку издалека — из Америки, как нам сказали. Иногда она звучала, как буйволы, дерущиеся на рогах, но в целом мне понравилась.

У Икбала был миллион планов на будущее, он постоянно рассказывал о них нам с Марией. Его совсем не пугала вся эта новизна. А меня немного пугала. Мне казалось, все происходит слишком быстро, или, может, я просто боялась, что однажды это закончится, как прекрасный сон.

Как-то утром в здании Фронта появился смешно одетый иностранец. Он представился американским журналистом и взял интервью у Икбала и Эшан-хана. Они проговорили два часа. Потом появился еще один и сказал, что он международный корреспондент.

— Теперь и за границей узнают о нашей борьбе, — говорил Эшан-хан, — нам помогут, и мы будем более защищены.

Две ночи спустя нас разбудил страшный грохот. Проснувшись, мы услышали крики и увидели языки пламени, поднимавшиеся до окон второго этажа. Мы попытались спуститься вниз по лестнице, но Эшан-хан загородил нам путь.

— Оставайтесь здесь! — крикнул он.

Кто-то метнул две бомбы с зажигательной смесью в здание Фронта. Один человек был ранен.

Потом мы ходили навещать его в больницу, у него были забинтованы обе руки.

Они сделали нам предупреждение.

# 14

— Мы больше часа ехали в темноте. Луна не светила, было очень холодно, и мы — все, кто ехал в кузове, — залезли под кусок брезента, чтобы хоть немного согреться. Мы были похожи на младенцев, которых уложили под одно одеяло.

— Ну и видок, представляю!

— Мне было ужасно смешно, но я сразу догадался, что смех был не к месту: все были очень серьезными и заметно нервничали. Эшан-хан предупреждал нас — да ты, Фатима, и сама слышала, как он сказал: «Прошу вас, будьте очень осторожны! На этот раз дело сложнее, чем обычно». Мы и впрямь в таком месте раньше не бывали. В какой-то момент асфальтированная дорога закончилась, и началась грунтовая, вся в колдобинах. Я понятия не имею, где мы ехали, — кругом была сплошная тьма, а еще тишина и ледяной ветер, от которого у нас стыли носы. Наконец вдалеке показалась кирпичная фабрика.

Это была огромная площадка, сплошь грязь и камни — ни дерева, ни травинки. Над ней четкий силуэт печи для обжига — уродливая гора кирпичей, похожая на огромную дымовую трубу. Там уже работали, ведь на рассвете работать легче всего. Позже от солнца, жары и усталости начинает ломить в плечах, и темп замедляется. Когда мы подъехали, никто даже не поднял головы, чтобы лишний раз не отвлекаться. Ты бы их видела, Фатима: разбросанные группками по огромной площадке, почти незаметные в темноте. У каждой семьи своя яма. В яме работали дети: смешивали глину с водой и лепили из нее что-то вроде булки. В руках у них были небольшие мотыги, чтобы копать землю. А земля очень твердая. Девочки носили воду из колодца, который находится за километр. Они ходили туда и обратно с канистрами воды по двадцать литров в каждой. Потом дети бросали смесь матери, которая еще раз ее замешивала, точно хлеб пекла, и кидала дальше — отцу, а тот вдавливал смесь в деревянную форму, обрезал лишнее и опрокидывал готовый кирпич на землю сохнуть на солнце. Вся площадка была усеяна этими длинными, похожими на змей рядами кирпичей, которые с каждой минутой становились все длиннее.

— Так, значит, на кирпичных фабриках работают целыми семьями?

— А как же. Там платят поденно: в день им нужно сделать 1200 кирпичей, чтобы получить 100 рупий.

— 100 рупий — это много!

— Я тоже так думал. Но послушай: мы вылезли из фургонов,

подошли поближе к одной из групп, и Эшан-хан рассказал главе семьи, кто мы такие и чего хотим. Мужчина даже головы не поднял. Он сидел на земле на корточках — весь в грязи, даже борода и длинные волосы, — и каждые тридцать секунд лепил новый кирпич. Эшан-хан не отставал. Тогда мужчина, по-прежнему не поднимая головы и не прерывая работы, пробормотал: «Ради бога, брат. Уходите отсюда». Клянусь тебе, Фатима, я чуть не расплакался. Ужасно, когда видишь, как дети работают в нечеловеческих условиях, мы-то знаем. Но это было еще хуже. Потому что это был мужчина. Взрослый. Отец. И… я не знаю…

— Что с ним было?

— Просто он не был похож на человека. У него ничего не осталось. У него и у всех других, кто ползал там по земле на рассвете вдоль рядов кирпичей. Мне вспомнился наш Салман, который работал на такой кирпичной фабрике и всегда отказывался говорить о ней. Теперь мне понятно почему.

— Бедный Салман, ты помнишь его руки?

— Конечно, помню… Я подошел к яме и начал разговаривать с детьми, и они тоже поначалу не хотели отвечать. Но потом самый старший, похоже мой ровесник, начал рассказывать, продолжая ковырять в земле мотыгой и подливать в смесь воду. Он с головы до ног был в грязи.

— Что он сказал?

— Что их шестеро в семье и что иногда им удается сделать и 1500 кирпичей, если день выпадает удачный. Если земля не слишком твердая. Если воды в колодце достаточно. Если только немного кирпичей расколются под палящим солнцем, потому что расколотые кирпичи не считаются. Что в некоторые дни они зарабатывают и по 120 рупий, но их все равно не хватает.

— Как же так?

— Им нужно платить хозяину за барак, в котором они живут. Он мне показал его: низкое и узкое здание рядом с фабрикой. Каждой семье полагается комната три на три метра, с печкой, чтобы готовить, с несколькими койками и с окошком без стекла. А еще хозяину надо платить за уголь, и еду можно купить только у него, и все это стоит очень дорого, так что, когда купишь зерна для лепешек роти и немного чечевицы и лука, бутылочку масла и чуть овощей, от заработанного за день ничего не остается. У них огромный долг, и им не удается вернуть ни рупии. «Мне, — сказал он, — достанется в наследство долг моего отца, а моим детям — мой». Он смочил руки в мутной воде. «Уходите, — добавил он потом, — скоро приедет мунши, директор, а он не любит, когда сюда приходят посторонние».

— А ты что сказал ему, Икбал?

— Я не знал, что сказать. Я увидел его ноги, его и его братьев, самому младшему лет пять. Никогда в жизни я такого не видел. Я быстро отвернулся, но он заметил, куда я смотрел. И засмеялся. «Гляди, не жалко!» — сказал он мне. На ступне у него было что-то вроде мозоли, толщиной в два пальца, черной и в трещинах. «Когда разжигаешь печь, — объяснил он, — нужно залезть на самый верх с корзиной угля и бросать его в отверстие посередине. Печь, она как дракон: ест, ест, и все ей мало, ты бы слышал, как она рычит, а потом выплевывает огонь». «А разве она не горячая?» — спросил я. «Конечно, горячая, балда!» — ответил он. И я больше не знал, что сказать.

Я никогда не видела Икбала таким подавленным. В тот день все вернулись из поездки почерневшие, понурые. Даже Эшан-хан, который был большим оптимистом и всегда готов был пошутить.

— И что потом? — спросила я, хотя уже знала, об этом стали рассказывать сразу после их возвращения. Но я чувствовала, что Икбалу нужно выговориться.

— Приехал мунши на большом автомобиле. Он увидел, что мы разговариваем с его работниками, и страшно разозлился. Закричал, чтобы мы убирались. На что Эшан-хан объяснил ему, кто мы такие, и что эти люди — свободные, и мы имеем право с ними разговаривать. Но тот орал все громче. Так бывает каждый раз, ты знаешь, так что мы особо не волновались. Мунши оглянулся вокруг — глаза безумные, как у сумасшедшего, он весь трясся от ненависти — и побежал в свой кабинет, то есть в зеленый жестяной барак, единственный, в котором было электричество (мы заметили провода). Мы решили, что он побежал кому-то звонить, своим дружкам или, может, в полицию. «Будем держаться вместе, — сказал Эшан-хан, — они ничего не могут нам сделать». Но вот мунши вышел из барака, держа в руках что-то черное. Он вытянул руки перед собой. У него был пистолет, Фатима. Он стал стрелять. Под звук выстрелов мы бросились врассыпную по площадке, скользили по грязной земле, пытались спрятаться, а он все стрелял и стрелял и осыпал нас проклятиями. Казалось, это никогда не закончится. Он стрелял, чтобы убить, Фатима, и просто чудом никого не ранило. Мы запрыгнули в фургоны и быстро уехали. В первый раз такое случилось.

Стемнело. В нашем большом доме зажгли свет, и мы ждали, что нас позовут на ужин. Из окон доносились громкие звуки улицы.

— Это ничего не меняет, Икбал, — сказала я.

— Я знаю, — кивнул он, — мы все равно будем продолжать.

Но было еще что-то, что ему нужно было мне сказать. Он понизил голос до шепота. В этот миг под окнами проехал грузовик, и я едва расслышала:

— Я испугался, Фатима. Но я очень прошу тебя, не говори никому.

Я хотела погладить его по голове, но потом смутилась и опустила руку.

— Ужин готов! — прокричала из кухни жена Эшан-хана.

— Не бойся, — прошептала я Икбалу, — об этом будем знать только ты и я.

Несколькими неделями позже Икбалу суждено было уехать. И мне тоже. Это был один из последних наших разговоров.

Как я жалею, что тогда не осмелилась его погладить.

# 15

Это случилось в ноябре. Моросил бесконечный скучный дождик, когда Эшан-хан неожиданно позвал меня и Икбала в свой кабинет. Несмотря на всю его доброту и отзывчивость, когда Эшан-хан закрывался у себя в кабинете, то никого к себе не пускал и никто не решался его беспокоить. Так было всегда, и сейчас мы очень удивились.

Мы вошли в маленькое помещение со стенами, побеленными штукатуркой, которое, в отличие от остального дома, загроможденного всякой разноцветной всячиной, было строгим и очень аккуратным. Письменный стол с ровными стопками бумаг, телефон, стул, не очень удобный на вид, все необходимое, чтобы заварить себе чаю. А еще там стоял сильный запах табака. Эшан-хан ходил взад-вперед в нетерпении, глаза у него сияли. В руках он сжимал мяч с разноцветными рисунками.

Мы уже несколько раз такой видели и подумали: «Неужели урок географии?!»

Правду сказать, место для урока было не очень подходящее.

Эшан-хан покрутил мяч и показал на большое пятно желтого цвета:

— Это Соединенные Штаты Америки, — сказал он, — большая и важная страна.

— Я знаю, — ответил Икбал, который явно хотел отделаться от урока, — это там, где пишут песни.

— Там Галивут, — помогла я, — и живут звезды кино.

Эшан-хан показал на маленькую точку на берегу огромного моря.

— Этот город называется Бостон, — продолжил он, не обратив внимания на наши обширные познания, — каждый год здесь присуждается премия, которая называется «Молодость в действии». Ее дают молодому человеку, который сделал что-то действительно нужное, в любой из стран мира. Премию присуждает компания «Рибок».

— Я знаю, — снова вставил Икбал, — они кроссовки делают.

Он уже несколько месяцев мечтал о кроссовках, но они стоили слишком дорого.

— Премия в 15 000 долларов.

— А сколько это рупий? — спросила я.

— Много. Больше, чем мы можем себе представить. В этом году премию присудили Икбалу.

Длинная пауза.

— Мне? — растерянно пробормотал Икбал.

— Да, — подтвердил Эшан-хан, — и знаешь, что это значит? Что теперь ты известен во всем мире и что теперь все знают о том, что происходит в Пакистане, и о нашей борьбе за отмену труда несовершеннолетних. Это значит, что они не посмеют нас тронуть. Это победа, Икбал, и это твоя заслуга. Мы с тобой поедем за премией в Бостон. Но сначала… — он снова покрутил глобус, — мы остановимся здесь.

Он показал на страну в форме собаки.

— Это Швеция, — пояснил он.

— Швеция?

— Да, страна, где очень-очень холодно. В Европе. Там будет проходить международная конференция по проблемам труда. Соберутся люди со всего мира. Они хотят тебя услышать.

— Меня? — спросил Икбал.

Мы стояли разинув рты, не в силах поверить.

Это было похоже на сон или на сказку, из тех, что родители придумывают детям на ночь. Мы просто не могли представить, что кто-то в этом далеком и неизвестном месте под названием мир знает о нашем существовании и о наших страданиях. Мы были никем, оборванцами, которые еще год назад работали с цепями на ногах. А теперь все эти важные люди хотели услышать Икбала!

— Это еще не всё, — добавил Эшан-хан, — один университет недалеко от Бостона выделил тебе стипендию. И это значит, что ты сможешь учиться, получить диплом. Ты ведь хотел стать адвокатом?

Икбал растерянно кивнул. Слишком много новостей для одного раза. Он смотрел то на меня, то на Эшан-хана.

— Но, значит… — пробормотал он, — нам придется уехать…

— Нас не будет почти месяц, — сказал Эшан-хан, — уверен, тебе понравится путешествовать: ты увидишь много нового… Когда мы вернемся, ты сможешь побыть с семьей, ты ведь давно их не видел. А потом будешь заниматься, и, когда придет время идти в университет… Ты разве не рад?

— Очень рад, — сказал Икбал, — но я хочу остаться здесь, с тобой, Фатимой и Марией… Я хочу освободить других детей из рабства…

— Ты будешь продолжать нам помогать, — успокоил его Эшан-хан, — ты слишком много для нас значишь, ты ведь знаешь. Но если у тебя получится стать хорошим адвокатом, ты принесешь гораздо больше пользы… Да, и для Фатимы есть новости: мы наконец нашли твою деревню и твою семью. Ты можешь вернуться домой!

Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди: мой дом! Я едва

помнила, какой он! А моя мама? Мои братья?

Мне вдруг захотелось плакать. Глупость какая! Столько прекрасных новостей, а я в слезы. Просто я почувствовала, что вот-вот закончится важная часть моей жизни. Я свободна и наконец вернусь домой. Икбала наградят по заслугам за все, что он сделал. Чудесно же! Разве такое могли мы представить, когда терпели издевательства от Хуссейна?

Я уверена, что плакала от счастья.

Как же быстро пролетели две следующие недели! Я помню их смутно, словно обрывки сна. Большой розовый дом кипел и бурлил. Все бегали туда-сюда, озабоченные приготовлениями к поездке. Нас осаждали пакистанские и иностранные журналисты, жаждущие узнать о премии. Сад походил на военный лагерь. И каким грустным, но полным надежды был каждый закат. Сколько еще осталось? Девять дней.

Помню Эшан-хана, рассказывающего что-то в три микрофона. Незнакомца, фотографирующего всех подряд. (Нужно было попросить себе фотографию — осталась бы на память.) Двух наших собак, перепуганных всем этим шумом, с поджатыми хвостами. Женщин, которые, зажав во рту булавки, шили Икбалу костюм на западный манер для церемонии награждения: пиджак, брюки, красивый синий жилет из теплой ткани, потому что там холодно.

Икбал в одних трусах. Он стесняется мерить брюки и огрызается на меня:

— Чего смотришь?

А я показываю ему язык.

Икбал посреди пустой комнаты, повторяющий речь, которую он будет произносить в Швеции и Бостоне. Через каждые шесть слов он сбивается и просит меня:

— Фатима, давай, помоги! — И я беру листок с текстом, написанным Эшан-ханом, и, все еще читая с трудом, подсказываю ему нужную фразу:

— Каждый день в Пакистане семь миллионов детей встают до зари, чтобы работать весь день, до захода солнца. Они ткут ковры, обжигают кирпичи, трудятся в поле с мотыгой, спускаются в шахты. Они не играют, не бегают. И никогда не смеются. Они рабы, и на ногах у них кандалы…

— …до тех пор, пока в мире будет хотя бы один ребенок, лишенный детства, ребенок, которого бьют, над которым издеваются, никто не сможет сказать: «Меня это не касается». Неправда — это касается всех. И неправда, что нет надежды. Посмотрите на меня: у меня была надежда. А у вас, господа,

должна быть смелость посмотреть этой правде в лицо…

Сколько осталось? Шесть дней.

Страшный ливень, вода рекой течет по улицам. На редкость тихий, спокойный день. Жена Эшан-хана обнимает меня, называет «бедной малышкой» и сообщает, что моей мамы больше нет, а мой старший брат Ахмед теперь глава семьи. Он очень хочет меня увидеть, а вообще, похоже, собирается уехать — далеко, неизвестно куда, на поиски счастья в другую страну, где, как он говорит, для всех есть достойная работа. Еще он хочет взять с собой меня и младшего брата, Хасана.

И вот я тайком пробираюсь в спальню Эшан-хана и его жены, открываю старый шкаф с единственным в доме зеркалом, где можно увидеть себя во весь рост, и хорошенько рассматриваю себя в это зеркало. Наверное, в первый раз в жизни. И вижу, что я худая, волосы взъерошены. Я сильно выросла — мое старое платье стало совсем коротким, почти открывает коленки. Может, пора уже надевать хиджаб. Надо сказать жене Эшан-хана.

Мы договорились, что я вернусь домой после отъезда Икбала. Мне обещали сообщать все новости, а если мне действительно придется уехать в другую страну, сначала я смогу вернуться сюда и со всеми попрощаться.

В последнюю ночь в большом доме мы с Икбалом оба, не сговариваясь, встали с кроватей, встретились в гостиной и долго-долго разговаривали, как раньше в мастерской у Хуссейна.

О чем мы только не говорили.

Следующим утром, на рассвете, мы провожали Икбала и Эшан-хана в аэропорт. Мы с Икбалом вдвоем сидели на заднем сиденье машины. День был ужасно ветреный. Потом с террасы мы видели, как они сели в самолет. Они помахали нам рукой на прощанье, такие маленькие и далекие.

Самолет взлетел — было слышно, как шумят моторы, — и стал подниматься все выше и выше.

Икбал оседлал самого большого воздушного змея.

Сердце у меня билось сильно-сильно, и странное чувство сжимало мне душу.

Самолет исчез на горизонте.

«Интересно, какая она, Америка», — подумала я.

Я не могла представить тогда, что больше его не увижу.

Меня отвезли домой. Из всего долгого путешествия я запомнила фургон, который подпрыгивал на всех ухабах. Еще помню поля, то зеленые, то серые, затопленные. Помню людей и животных, работавших в поле. Помню немощеные дороги в грязи.

При виде каждой кучки домов я думала: «Может, это моя

деревня?»

Я совсем ничего не помнила.

Мужчина, которому Эшан-хан доверил меня, был очень добрым: он все болтал и болтал, чтобы отвлечь меня, словно понимал, что я испытываю. Мне хотелось вернуться к своей семье, но в то же время мне было грустно.

Наконец мы приехали. Ахмед стал настоящим мужчиной. Хасан, младший, был выше меня. В хижине я понемногу узнала наши старые вещи. Потом сама нашла дорогу к колодцу, по которой столько раз ходила, стараясь удержать на голове кувшин с водой. Даже буйвол был тот же, только старый и облезлый.

Я готовила, убирала, помогала в поле, как когда-то, конечно, делала моя мать. О долгом путешествии в поисках удачи, которое нас ожидало, я знала мало, и меня это не интересовало.

Проходили дни, которые в деревне казались длиннее.

Я получила письмо от Марии и побежала читать его в заросли тростника.

Она писала: «Здесь у нас все хорошо». Эшан-хан звонил, один раз из Швеции и два — из Америки. Она разговаривала по телефону с Икбалом, у него все было отлично: он произнес свою речь в Стокгольме и ни разу не запнулся, а в конце все эти богатые и красивые люди со всего мира поднялись со своих мест и аплодировали ему.

И в Америке, в Бостоне, его тоже очень чествовали и все хотели с ним познакомиться. А когда ему вручали премию, некоторые женщины плакали. Икбал жаловался, будто ему жали новые ботинки. И передавал мне огромный привет. Скоро они должны были вернуться, и Икбал собирался немного побыть дома с семьей, потому что приближалась Пасха, праздник, который для христиан, таких как Икбал, такой же важный, как для нас Рамадан. Мария надеялась, что у меня тоже все хорошо, и спрашивала, как дела в деревне. Она еще мне напишет.

«Целую. Мария».

В конверте была еще статья, вырезанная из американской газеты: я, конечно, не могла ее прочитать, но в тексте нашла много раз встречающееся имя Икбала, и еще там была его фотография, которую я долго рассматривала, хоть она и была темной и нечеткой.

Прошло еще много дней. Я отмечала их кусочком мела в углу на стене, чтобы не сбиться со счета. Прошло две недели, потом еще месяц, а нашего хромого почтальона все не было видно.

— Скоро мы уедем, — сказал мне Ахмед.

После работы я сидела перед домом и смотрела на тропинку, ведущую в деревню. «Все про меня забыли», — думала я.

Еще я думала про воздушного змея, вспоминала, как Икбал стоял перед разрезанным ковром, вспоминала ту ночь, когда мы ползли через двор к Склепу, чтобы ему помочь, и тот день в кино в Лахоре. Еще я думала о том, что мне не хочется ехать в эту дурацкую далекую страну.

За два дня до намеченного отъезда в Европу я увидела вдалеке хромого почтальона, ковылявшего через поля со своей сумкой через плечо и палкой, на которую он опирался и которая утопала по ладонь в грязи.

Было пасмурно и как-то зловеще. На небе висели низкие тучи, на всем лежали странные тени. Я смотрела на него, наверное, с полчаса — так медленно он приближался. Не могу сказать, что у меня было какое-то предчувствие. Просто в какой-то момент у меня из глаз хлынули слезы — сами собой, без причины.

# 16

«Фатима, подруга моя, горячо любимая сестра моя. Как бы я хотела, чтобы ты была рядом со мной в эти дни, чтобы я могла поговорить с тобой, поплакать у тебя на коленях. Помнишь, сколько раз я делала это раньше? И ты всегда умела меня утешить, защитить, найти нужные слова. Если бы ты смогла это и сейчас! Если бы могли мы разделить это горе! Если бы я на этот раз смогла найти нужные слова!

Я знаю, что давно не писала тебе. Ты, наверное, думала, что я про тебя забыла, что мои чувства к тебе рассеялись, как утренний туман над полем. Но, поверь мне, я просто не могла сообщить тебе эту новость. И сейчас рука моя дрожит и слезы — ты видишь — капают на бумагу. Прости мое малодушие. Но лучше тебе узнать об этом от меня, а не от других.

Я расскажу тебе обо всем.

Когда Икбал вернулся из своего долгого путешествия, он тут же уехал снова. Его деревня, как мне рассказали, находится недалеко от Лахора, всего в паре десятков километров. Ему нужно было повидаться с семьей на Пасху. Это такой христианский праздник, в который они вспоминают своего Бога, которого убили, но который потом воскрес. Икбал должен был пробыть у родителей около месяца, а потом вернуться к нам, чтобы продолжить свою борьбу. Он говорил, что взял на себя обязательство перед всеми этими людьми — там, в Америке, и что он его выполнит.

Ты же знаешь, какой он.

Говорят, что в деревне его встретили как героя, с огромной радостью. Все знали о том, что он сделал, и смотрели на него с уважением и восхищением. Вся община побывала у него в доме, чтобы его поприветствовать; приносили подарки и спрашивали, правда ли он летал на самолете.

Говорят, что на второй день Икбал уже устал от всего этого внимания, старался избегать людей и предпочитал выходить в поле с отцом на рассвете и подолгу с ним разговаривать. А после обеда — носиться верхом на старом велосипеде вместе со своими двоюродными братьями или запускать воздушного змея.

Помнишь, как ему нравилось запускать змея?

Говорят, он был очень счастлив тогда и полон планов на будущее.

В то воскресенье, на Пасху, стояла прекрасная погода, светило солнце. Икбал сначала посетил праздничную службу в своей церкви, а потом заходил в гости к родственникам, и они

дарили друг другу яйца, не знаю почему. А потом был праздничный стол, песни и танцы. Даже мясо — представляешь! И разные сладости: ладду, джалеби с апельсином, бурфи. Икбал так объелся сладкого, что у него даже заболел живот. Потом, пока взрослые разговаривали, ребята разбежались поиграть кто куда, время от времени слышны были их голоса и крики.

Кто-то говорит, было три часа дня, другие уверяют, что „позже, солнце уже начало садиться“, — когда на дороге в конце деревни появилась машина в облаке пыли. Машина была большая и черная, покрытая грязью, и казалось, внутри никого не было, словно она ехала сама по себе, подминая своими огромными колесами гравий. По крайней мере, никто не видел, кто был за рулем.

Некоторые вспоминают, что именно в тот миг неожиданно началась гроза, и огромные, с монету, капли застучали по земле, а от раскатов грома задрожали соломенные крыши. Другие же говорят, что гроза была позже, под вечер.

Черный автомобиль медленно проехал через деревню и свернул на дорогу, что вела к рисовым полям. Сплошная стена воды с неба сливалась с той, что клокотала на земле.

Икбал поднимался на велосипеде вверх по дороге, привстав на педалях, с мокрыми прядями волос на глазах, в футболке, привезенной из Америки, которая развевалась на ветру.

Никто не знает, что произошло, Фатима, сестричка моя. Но один человек шепотом рассказал, что он видел издалека сквозь пелену дождя: когда Икбал проезжал мимо автомобиля, стекло медленно опустилось и раздались три выстрела — или четыре, пять, кто знает? — и, прежде чем все опомнились, черной машины уже не было. И даже следа от нее не осталось в дорожной грязи, ничего, только вода под телом Икбала стала бледно-красной, но ненадолго — все смыло дождем.

Вот и все, что нам сообщили.

Но послушай, Фатима, сестричка. Я-то знаю, что это не все.

Я не сошла с ума, не думай. Несколько недель мне казалось, что я снова стала такой, как прежде, помнишь, когда я не могла говорить? Я закрылась. Я все повторяла про себя: „Это неправда, люди вечно все путают, все преувеличивают“. Все были уверены в том, что это правда, — и Эшан-хан, и его жена. Только я не верила.

А потом, две недели назад, раздался стук в дверь, что выходит в сад. Кто-то — не помню кто — пошел открывать. На пороге стоял мальчик, весь перепачканный, со следами от цепей на щиколотках. Он рассказал, что работал на ковровой фабрике и сбежал и что он слышал — мы можем помочь арестовать его

хозяина.

И знаешь, что он еще сказал?

Он сказал: „Я не боюсь“.

Я хорошо его рассмотрела, Фатима: это был Икбал, клянусь тебе! У него были его глаза, его голос.

Три дня спустя пришел еще один. А потом на рынке один мальчик взбунтовался против своего хозяина, одного из самых богатых торговцев.

Их я тоже видела: это был Икбал.

Не грусти, Фатима, если можешь. Случилось то, что изменило наши жизни, и это останется с нами навсегда. Я сказала Эшан-хану, что теперь буду учиться и поступлю в университет. Я обязательно стану адвокатом, буду бороться за свободу всех детей Пакистана и мира.

И знаешь что? Я тоже теперь не боюсь, в первый раз в жизни.

Сестричка моя. Я не знаю, куда ты поедешь, смогу ли я переписываться с тобой, увидимся ли мы снова. Об одном прошу тебя: ничего не забывай. Помни все, до мельчайших деталей. Расскажи кому-нибудь нашу историю. Расскажи ее всем. Чтобы память не исчезла.

Только так Икбал всегда будет рядом с нами.

Обними меня.

Твоя сестра Мария».

# Эпилог

Икбал Масих был убит в день Пасхи 1995 года в Муридке — городке в тридцати километрах от Лахора, в Пакистане. Ему было около тринадцати лет.

Исполнителей и заказчиков его убийства не нашли.

Эшан-хан заявил: «Его убила ковровая мафия».

С тех пор имя Икбала стало символом борьбы за освобождение десятков миллионов детей всего мира от насилия и рабства.